# ОВАВЫЕ СЛЁЗ
# РДОСТЬ СЕМЬ



Ани Вебр

# Кровавые слезы - гордость семьи

«Автор»
2026

**Вебр А.**

Кровавые слезы - гордость семьи / А. Вебр — «Автор», 2026

Милена с детства жила по указки отца и мечтала лишь об одном - вырваться на свободу. Воспитанная в строгих традициях и устоях, боялась опорочить семью. Запятнать репутацию и навлечь гнев отца. Всегда стремилась завоевать его расположение и сделать все, чтоб отец гордился Миленой. И вот когда мечта, казалось бы, исполнила. Свобода так близка, ведь Мила выходит замуж и сможет вздохнуть воздух, свободы, полной грудью, она попадает в еще более жесткую и жестокую клетку, чем в доме отца.Что делать? Смериться? Или пытаться все изменить?Можно конечно попытаться все изменить, вот только девушка не приучена перечить мужчине. Что же будет делать Милена?

© Вебр А., 2026
© Автор, 2026

# Ани Вебр
# Кровавые слезы - гордость семьи

ГЛАВА 1

Сижу, отмываю полы на кухне. Жёсткая щётка царапает плитку, а я почти не чувствую этого — всё перекрывает тупая, тягучая боль внутри. Слезы медленно скатываются по щекам, капая на жирный пол, перемешиваясь с остатками спагетти по-итальянски. Каждая капля падает с тихим, почти неслышным шлепком, и этот звук отзывается где-то глубоко в груди, как тихий упрёк. В душе мне очень обидно, что мои старания оказались на полу, превратились в липкую, остывшую массу, которую теперь приходится счищать. Но умом я понимаю: сама виновата. Виновата, что немного пересолила. Нужно было быть внимательнее.

Сколько раз убеждалась, что моя невнимательность, несобранность и неспособность уделять внимание мелочам мне же потом и выходят боком. Стоит только на секунду отвлечься — и всё, цепочка событий ломается, рассыпается, как карточный домик от лёгкого сквозняка. Была бы чуточку сообразительней — не было бы столько проблем. Моя безалаберность раздражает мужа, а я всё никак не могу измениться и повзрослеть, стать более ответственной. Стать достойной Дмитрия. Это желание звучит в голове как мантра, но каждый раз, когда я пытаюсь ухватить эту новую себя, она ускользает, как дым сквозь пальцы.

Убираю спагетти, вымываю пол, и движения становятся механическими, будто тело помнит, как нужно двигаться, даже когда мысли далеко. Постепенно кухня преображается: исчезает хаос, остаётся только чистый, чуть влажный кафель, отражающий тусклый свет лампы. И вместе с грязью уходит и часть тяжести, осевшей на плечах. Я погружаюсь в воспоминания, и они накрывают меня, как тёплый, но тяжёлый плед — уютный и в то же время давящий.

Воспитывали меня в строгости. Мой отец — Заур Садыкович, чистокровный армянин, чтит традиции. Высокий, крепкого телосложения, волосы цвета вороного крыла, будто впитавшие в себя всю тьму ночей. Нос с горбинкой придавал его лицу суровость, а постоянное хмурое выражение делало его почти неприступным. Сколько я его помню, он всегда был таким. Даже на фотографиях в молодости он смотрел так, будто весь мир был ему чем-то обязан. Я всегда задавалась вопросом: как мама могла выйти за него замуж? Я видела фото со свадьбы. Мама — Татьяна Николаевна — улыбчивая, миниатюрная девушка. Каштановые волосы мягко обрамляли лицо, а зелёные глаза искрились радостью, словно в них отражалось всё счастье мира. Сейчас она, конечно, немного поправилась, да и радости такой в глазах уже нет. Наверное, жизнь с отцом наложила свой отпечаток, сгладила острые углы её характера, приглушила свет, который когда-то так ярко горел.

Папа всегда вдалбливал мне в голову свои традиции и устои. Я должна прилежно учиться, слушать родителей, хранить свою честь до замужества, не гулять допоздна, не посещать сомнительные мероприятия, помогать маме готовить, стирать, убирать. Должна быть скромной. Должна почитать традиции. Должна, должна! Эти слова звучали как приговор, высеченный на камне, и я росла с осознанием, что я всем что-то должна. Не было дня, чтоб отец на меня не наорал. Я всегда всё делала не так. Иногда запирал в комнате, редко бил, но я всегда его боялась. Порой холодела от одного его взгляда — в нём было столько холодной силы, что казалось, будто воздух вокруг становится тяжелее. Мама никогда не заступалась за меня. Наверное, тоже побаивалась отца или не хотела перечить. Каждую ночь я мечтала поскорее вырасти и выйти замуж. Хотела избавиться от этого гнёта, хотела дружную семью и доброго, заботливого мужа. Даже на каждый Новый год и день рождения загадывала это желание, шепча его в темноту, надеясь, что кто-то там, наверху, услышит и поможет.

Время шло, я взрослела, а тотальный контроль только усиливался. Мою честь хранила уже не только я, но и отец. Общение с подругами и прогулки сошли на нет. Дом — учёба, учёба — дом. И так по кругу. Никакого просвета и свободы. Отец всегда говорил: «Гулять будешь, когда замуж выйдешь, и то если муж разрешит». Тогда я думала: «А откуда муж возьмётся, если я дома сижу? Как он узнает, где меня искать?» Смешно, конечно. Уверена, папа уже присмотрел мне мужа и ждёт только подходящего момента или возраста.

Чтоб не сойти с ума в одиночестве, я погрузилась в компьютерный мир. Учила английский, смотрела фильмы на английском, общалась в разных чатах с людьми, играла в игры по сети. Таким образом я хоть немного, но компенсировала общение с живыми людьми. Общалась я в основном с парнями. Мне были интересны темы о машинах, игры про войну, гонки и стрелялки. В этом виртуальном мире я могла быть другой — смелой, уверенной, не той девочкой, которая вздрагивает от каждого резкого слова отца. Здесь никто не знал, что дома меня ждёт строгий надзор и бесконечные «должна».

У меня была единственная подруга, которая меня поддерживала. Помню, как она появилась в нашем классе. Виктория перевелась к нам в десятом классе. Влетела, как ураган, и прошлась по всем, оставляя за собой вихрь энергии и хаоса. В ней было столько силы и жизни, что казалось, будто она питается самим воздухом, превращая его в движение. Вика всегда пребывала в движении, направляла свою энергию на всё и всех, что попадало в её поле зрения. Не знаю, почему она тогда выбрала именно меня? Но я была ей благодарна за это. Вика таскала меня за собой, пыталась внести разнообразие в мою серую жизнь. Скрепя сердцем, душой и зубами, отец всё же отпускал меня гулять с Викой, хоть и ненадолго. Два последних года школы были как небольшой глоток свежего воздуха — короткий, но такой необходимый, что я ловила его жадно, боясь упустить хоть каплю.

На выпускном я плакала. И это были не слёзы прощания со школой. Это были слёзы прощания с Викторией. Тогда я считала, что наши дороги расходятся. Мы поступаем в разные учебные заведения, и наша дружба закончится так же быстро, как началась. Только Вика была другого мнения. Мы продолжили дружить. Встречались реже — учёба отнимала много времени, — но созванивались часто. Обменивались новостями, у Виктории, по понятным причинам, их было больше.

Тяжелее стало, когда она уехала в другой город на заработки. Там же вышла замуж и осталась жить. Наши встречи стремились к нулю. Мы виделись лишь в её редкие приезды, а в остальное время оставались только редкие звонки, короткие и немного неловкие, будто мы боялись сказать что-то не то и разрушить хрупкую связь, которая всё ещё держалась на старых воспоминаниях. Я всё больше погружалась в виртуальный мир. Там же познакомилась с мужем. Наша переписка длилась около полугода. В ней мы узнавали друг друга: что любим есть, делать, как живём. Дмитрий сочувствовал мне по поводу отношений с отцом, поддерживал и вселял веру в лучшее будущее. Вскоре предложил руку и сердце. Говорил, что это хорошая возможность вырваться из дома и из-под гнёта отца.

Я была на седьмом небе от счастья. Согласилась почти не думая. Дима мне очень нравился. У нас были общие интересы, и в его сообщениях я чувствовала ту самую заботу, которой так не хватало дома. Когда он пришёл к нам домой, отец устроил настоящий допрос с пристрастием. Вопросы сыпались один за другим, как камни, и каждый требовал точного, выверенного ответа. Не знаю, каким чудом Дима это выдержал, но в конце вечера папа дал согласие на свадьбу. В его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение, и это было дороже любых слов.

Дни полетели быстро. Я готовилась к самому счастливому дню своей жизни. Мама помогала и давала советы, и в её движениях, в её тихих словах я чувствовала, что она тоже надеется на что-то хорошее. Я чувствовала, что вступаю в новую счастливую жизнь, и это ощущение было таким ярким, что затмевало все страхи и сомнения. Казалось, что впереди только свет, только тепло и покой, которых я так долго ждала.

Свадьба была скромной, почти незаметной, как тихий рассвет, который не будит город, а лишь мягко окрашивает его в нежные тона. Приглашены были только родственники — тесный круг людей, чьи взгляды порой казались тяжелее любых слов. Папа с Димой решили не тратить много денег на свадьбу, а вложить их в семью, в фундамент, который, как они надеялись, выдержит любые бури.

На мне было скромное белое платье до колен — простой крой, без лишних деталей, но в нём чувствовалась какая-то тихая элегантность. Свои длинные, до поясницы, угольно-чёрные волосы я собрала в высокий хвост — так они не мешали, но всё равно струились, как шёлковые нити, ловя отблески света. Глаза подвела стрелками — они делали взгляд чуть более выразительным, почти дерзким, что контрастировало с общей скромностью образа. На пухлые губки нанесла блеск, и он лёг тонкой плёнкой, придавая им едва уловимое сияние. Никогда не считала себя красавицей, но в тот день, глядя на своё отражение, подумала, что вполне симпатичная. Сегодня я выглядела достойно и скромно — именно так, как и подобало невесте в этой сдержанной, почти аскетичной церемонии.

Первая неделя после свадьбы мне казалась раем — тихим, уютным, с запахом свежезаваренного чая и шёпотом вечерних разговоров. Я боялась первой брачной ночи, и этот страх был похож на холодную тень, которая крадётся за тобой в тёмном коридоре. Но всё прошло не так уж плохо. Было немного больно — острая, короткая вспышка, которая быстро растворилась в осторожных, бережных прикосновениях Димочки. Он старался быть нежным и ласковым, будто боялся сломать меня, как хрупкую фарфоровую куклу. Наслаждения я не получила, и эта пустота внутри казалась странной, почти обидной. Муж сказал, что в первый раз его никто не получает. Я не стала заострять на этом внимание, поверила на слово: он опытный, ему виднее.

Мы смотрели фильмы, много общались и ели заказной фаст-фуд — хрустящие полоски картофеля, бургеры, от которых пахло специями и чем-то запретным, почти детским. К концу недели, когда у меня всё зажило, мы попробовали снова. Боли не было, но и фейерверков тоже — только тихое, ровное тепло, приятное, но не оглушающее. Дима говорил, что мне нужно время, чтобы привыкнуть к новым ощущениям и подстроиться, что у нас вся жизнь впереди, просто я в этом деле ещё не опытна. Конечно, я верила своему мужу: он никогда мне не врал, по крайней мере, я так думала.

Прошла неделя с небольшим. Мы ложились спать. Дима чмокнул меня в щёку, пожелав спокойной ночи, и сказал буднично, словно объявлял прогноз погоды:

— Медовая неделя закончилась. Пора возвращаться к насущным делам. Я завтра иду на работу, а на тебе — уют в доме. И неплохо бы было тебе начать искать работу. Лучше на дому. Тебе будет удобнее. Не надо никуда бежать. Всё рядом и под боком.

Я лежала и млела от его заботы. В этих словах слышалось не равнодушие, а желание оградить меня от суеты, оставить в тёплом, безопасном уголке. Хорошо, когда о тебе заботятся, переживают. Если работа будет через интернет, смогу спать подольше — эта мысль грела, как чашка горячего шоколада в холодный вечер.

Утро для меня наступило рано и неожиданно, ворвавшись в сон резким, чужим голосом:

— Милена! Ты что спишь? — услышала удивлённый голос мужа.

— Да, — сонно отозвалась я. — Мне же никуда не надо.

— Тебе-то да. А вот твоему мужу надо на работу. Сегодня так уж и быть прощаю, а с завтрашнего дня будь добра вставать и готовить завтрак. Ты же не хочешь, чтоб твой любимый муж уходил на работу голодным? Твоя мама готовит твоему отцу завтрак каждое утро. Неужели ты любишь меня меньше, чем она твоего отца?

— Ты что, конечно же нет! — я подскочила с постели, как ужаленная, и понеслась в сторону кухни, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. — Я сейчас. Я быстро. Прости, я просто не подумала об этом. Сейчас я приготовлю завтрак.

Хотела сделать всё быстро, но, как назло, из рук всё валилось, и ничего не получалось. Сковорода шипела, масло брызгало, яйцо растекалось неровной кляксой, а потом начало подгорать, источая горький запах, который казался мне запахом собственной несостоятельности. Яичница подгорела. Дима сморщил нос, будто почувствовал не запах еды, а что-то гораздо более неприятное.

— Она горячая и горелая, я такое не ем, — бросил он, развернулся и хлопнул входной дверью.

Муж ушёл на работу голодным, а я осталась стоять посреди кухни, чувствуя себя маленькой и беспомощной, как ребёнок, который впервые попытался завязать шнурки и запутался в них окончательно. Моё настроение было безнадёжно испорчено, а в душе зародился маленький, но ядовитый червячок сомнения. Может, не зря отец на меня постоянно орал? Может, я и правда никчёмная хозяйка? Муж голодный, а я сплю. Даже яичницу приготовить не смогла. Весь день совесть грызла меня, как голодный зверь, не давая ни минуты покоя.

Летели дни, месяцы. Я старалась угодить мужу, чтобы загладить вину за тот первый испорченный завтрак. Готовила, стирала, убирала, гладила — каждое движение было наполнено отчаянным желанием доказать, что я могу, что я справлюсь. Но каждый раз что-то делала не так, словно надо мной висел злой рок, который нарочно подставлял подножки. То еду пересолю, и она становилась несъедобной, как кусок камня. То складку не разглажу на рубашке, и она торчала, как насмешка над моими стараниями. То забуду постирать что-то важное, и вещь лежала в корзине, укоряя меня своим видом. То пыль останется в каком-нибудь углу, незаметная, но упрямая, как воспоминание, которое не хочешь, но не можешь забыть.

Стало казаться, что мои руки растут не из того места, что они не предназначены для этих простых, но таких важных дел. Радовало только то, что работу я всё-таки нашла. Переводила тексты и зарабатывала на этом деньги — пока немного, но я думала, что скоро смогу зарабатывать больше, и эта мысль была как маленький огонёк в тёмной комнате: не грела, но хотя бы освещала путь.

Как-то Дима сел за мой компьютер и увидел переписку с одноклассником. Устроил мне такой скандал, что я боялась, что он разведётся со мной, такой непутёвой, такой недостойной его доверия. Его голос гремел, как раскаты грома в тесном помещении, и каждое слово било, как удар хлыста.

— Я всё думаю, почему у нас дома как в сарае! Пожрать нормально приготовить не может! Зарабатываешь копейки! А ты у нас, оказывается, время тратишь на мужиков!

— Да ты что? Какой мужик? — пыталась оправдаться я, голос дрожал, а слова рассыпались, как сухие листья под порывом ветра. — Это мой бывший одноклассник. Он просто спросил, как дела. Ничего такого…

— Не надо мне тут оправдываться! Бывший одноклассник — значит, уже совершенно посторонний человек! У тебя муж есть, а ты с чужими мужиками беседы ведёшь! — Дима подскочил ко мне, схватил за волосы и силой усадил за стол, а потом ткнул лицом в клавиатуру. Я больно ударилась носом, и в глазах потемнело от боли и унижения. — Быстро взяла и удалила все переписки с мужиками! И из друзей тоже! Я не потерплю такого откровенного плевка мне в лицо! Теперь будешь общаться только с женщинами!

Он развернулся и покинул комнату, оставив после себя звенящую тишину, которая была громче любого крика. Я быстро стала всё удалять, пальцы дрожали, и курсор прыгал по экрану, как испуганный зверёк. Что же я за дура такая? Как можно так не уважать своего мужчину, чтобы общаться с другими? Хорошо, что Димочка меня любит. Другой бы уже бросил. Так плюнула ему в душу.

## ГЛАВА 2

Полтора года я прожила как на иголках — будто каждый день наступала на острые, невидимые шипы, и они впивались в кожу, оставляя тонкие, но глубокие ранки. Старалась угодить мужу, ловила каждый его взгляд, каждое едва уловимое движение бровей, пытаясь угадать, что сейчас будет не так. Только с каждым днём всё меньше получалось, и эта неспособность соответствовать его ожиданиям давила на плечи, как тяжёлая, промокшая от дождя накидка — невидимая, но невыносимо тяжёлая.

Готовить я, судя по всему, так и не научилась: даже простейшие блюда выходили у меня либо пересоленными, либо недосоленными, либо просто безвкусными, словно сама жизнь выжала из них все краски. Зато стала больше зарабатывать. Помимо переводов, взялась делать контрольные и дипломные работы. Никогда не думала, что будет столько желающих купить, а не делать самим, — казалось, будто весь мир вдруг разом разучился учиться. Мне было только на руку: в этой работе я хотя бы не чувствовала себя такой ущербной. Здесь мои старания ценились, за них платили, и в этих цифрах на банковском счёте было что-то успокаивающее — как тихий, ровный пульс, который напоминает, что ты всё ещё жива и на что-то способна.

В постели же у нас стало всё только хуже. Я вроде делала всё, что Дима говорил, хоть и очень стеснялась. Каждое его указание звучало в голове, как строгий урок, который нужно выучить наизусть: «расслабься», «не лежи так», «будь живее». Но чем старательнее я пыталась следовать этим инструкциям, тем сильнее сжималась внутри, словно пыталась стать незаметной, раствориться в темноте. Сама удовольствия так и не получила ни разу. Дима говорил, что это либо потому, что я лежу как бревно, либо я фригидная. Склонна была ему верить: со мной явно что-то не так. Не могла расслабиться, и это напряжение сковывало тело, как ледяные цепи. Чувство стыда разъедало изнутри, горькое и едкое, как кислота, капля за каплей подтачивающая душу. Старалась не думать об этом, прятала эти мысли в самый дальний угол сознания, запирала на тяжёлый замок. Смирилась с тем, что не как все. Секс в семье не главное, лишь бы в остальном было всё хорошо. Только и в остальном не было ничего хорошего. В быту не всё получалось, и даже самые простые дела превращались в испытания, где я снова и снова терпела поражение. Ещё и забеременеть не могла. Дима злился. Сказал, что если не получится в течение двух месяцев, поведёт меня в клинику на обследование.

Прошло полгода. Дима всё больше злился, и его раздражение витало в воздухе, как грозовые тучи, которые сгущаются перед бурей. Почти каждый вечер были скандалы — они накатывали волнами, оставляя после себя опустошение и звенящую тишину. Один из них произошёл после получения всех анализов после обследования. Врач настаивал на обследовании обоих, и это требование повисло между нами, как натянутая струна, готовая лопнуть от малейшего прикосновения. Дима отказывался, говорил, что совершенно здоров, что ему нечего там делать, что это пустая трата времени и унижение. В конечном итоге согласился, но стал попрекать меня, и каждое его слово было острым осколком, который впивался в кожу.

— Из-за твоих проблем я должен позориться и терпеть все эти процедуры, — зло шипел он каждый день, пока мы обследовались. Его голос звучал глухо, как раскаты грома вдалеке, но от этого не становился менее пугающим.

На последний приём пошёл один, оставив меня в коридоре. Там, среди безликих стен и тиканья часов, время тянулось невыносимо медленно, растягиваясь в бесконечность. Он вышел злой, как чёрт, — в его глазах пылал огонь раздражения, а лицо было искажено такой яростью, что казалось, будто он готов разрушить всё вокруг. Сказал, что мы оба здоровы. А это значит, есть большая вероятность, что не беременею я из-за своего нежелания. Есть у женщин такая особенность: если сильно не хотят, то ничего не получается.

— Это врач так сказал? — поразилась я, и голос мой прозвучал тонко, почти жалобно, как скрип старой двери.

— Да, — шикнул Дима, не глядя на меня, будто я была чем-то незначительным, досадной помехой на его пути.

— Но я очень хочу, — заверяла я, и в этом признании была вся моя боль, вся надежда, которая отчаянно цеплялась за соломинку.

— Значит, ты всё врёшь. Говоришь одно, а думаешь совсем другое, — шикнул на меня и пошёл на выход из клиники, оставив меня стоять посреди коридора, чувствуя себя маленькой и беспомощной, как ребёнок, которого забыли в чужом месте.

Придя домой, начался настоящий ужас. Дима орал и бил посуду — осколки разлетались по кухне, как злые искры, и каждый звон отзывался внутри острой болью.

— Я уже жалею, что взял тебя в жёны! Пожалел, хотел вытащить из дома. Чтоб отец тебя не притеснял. А он правильно делал! Надо было ещё пороть тебя! Ты посмотри!!! — он достал рубашку из шкафа, и ткань в его руках казалась беззащитной, как всё, что я пыталась сделать правильно. — Здесь опять складка!

— Всего одна и очень маленькая, в самом низу, — пыталась оправдаться я, голос дрожал, а слова рассыпались, как сухие листья под порывом ветра. — Ты заправишь в брюки, и видно не будет.

— Зачем мне твои оправдания? Я не буду ходить в мятом! Переглаживай! — скомкал рубашку и бросил мне в лицо. Ткань ударила по коже, как пощёчина. — Еда как всегда пересолёная! Я это жрать не буду!!! Детей родить не можешь! В постели бревно! Да ты вся дефектная!

Дима хлопнул дверью и ушёл, и этот звук отозвался в квартире глухим эхом, которое долго ещё висело в воздухе. Дома не появлялся двое суток. Вернулся пьяный, и от него пахло чужими женскими духами — этот запах был чужим, резким, он резал ноздри, как едкий дым.

— Сама виновата. Надо же мне, как настоящему мужику, хоть раз нормальную бабу поиметь. Если начнёшь себя нормально вести, такого больше не будет, — бросил он, не глядя на меня, и эти слова упали на пол, как тяжёлые камни, оставляя на душе глубокие вмятины.

Тогда я проплакала всю ночь. Слёзы текли по щекам, горячие и горькие, и каждая капля уносила с собой крошечную частичку надежды. А к утру решила попробовать всё сначала. Стала больше стараться в постели, ловила каждое его движение, каждый вздох, пытаясь понять, что ему нужно. Каждый вечер молилась, чтобы Бог послал нам ребёночка, и слова молитвы сплетались в моей голове с тихим шёпотом отчаяния и надежды. Квартиру убирала на два раза каждый день — протирала каждую полку, каждый угол, каждую поверхность, будто могла стереть вместе с пылью и свои ошибки. Гладила раза на три, чтоб наверняка, и утюг скользил по ткани, как успокоительное движение, которое на мгновение возвращало ощущение контроля. Готовила изысканные блюда, листала кулинарные сайты, смотрела видеоуроки, старалась солить как можно меньше, и каждый раз, пробуя, задерживала дыхание, боясь, что опять что-то не так. Работала даже по ночам, когда дом затихал, и только тусклый свет монитора освещал моё усталое лицо. Спала часа по три, но мне вроде хватало — кофе очень выручал, его горький, терпкий вкус был как маленькая опора в этом шатком мире.

Постепенно отношения между нами стали налаживаться. Дима стал спокойнее и добрее, его голос уже не звучал как раскат грома, а иногда даже напоминал тихий, ровный дождь, который смывает пыль и даёт земле шанс ожить. Если так пойдёт и дальше, то скоро, наверное, меня простит. Эта мысль грела, как слабый, но такой нужный огонёк в холодной комнате, и я цеплялась за неё, как за последнюю надежду.

***

Прошёл год. Только в нашей жизни ничего не поменялось — будто время замкнулось в кольцо, и мы бегали по нему, как белки в колесе, не в силах вырваться из этого бесконечного, изматывающего круга. Диму хватило на пару месяцев: первые недели после моего отчаянного рвения он был почти ласков, почти доволен, но потом тепло стало остывать, как вода в забытой на плите кастрюле, и его недовольство вернулось, разрастаясь, как тень от вечернего солнца.

Он стал искать причины, чтобы поругаться, выискивал их с тем же упорством, с каким золотоискатель просеивает песок в надежде найти крупинку. К быту придраться не мог —

квартира блестела, рубашки были выглажены без единой складки, пыли не оставалось даже в самых дальних углах. Заработок у меня был тоже приличный, и это, казалось, злило его ещё больше, будто мои деньги были не помощью, а упрёком. Тогда он стал цепляться к супружескому долгу. То не так сижу, не так лежу. То грустная, то заторможенная. Каждое его слово было как камешек, брошенный в воду, — от него расходились круги, которые задевали всё, до чего дотягивались.

А я просто уставала. Недостаток сна дал о себе знать — тело стало тяжёлым, неповоротливым, будто набитым ватой. Глаза слезились от монитора, а голова гудела, как перегретый двигатель, который вот-вот заглохнет. Я ходила по дому, как сонная муха, натыкаясь на предметы, путаясь в собственных мыслях, и каждый шаг давался с трудом, будто ноги налились свинцом. Я так устала, что усталость стала моим постоянным спутником, тенью, которая не отставала ни днём, ни ночью.

Теперь даже жизнь с родителями не казалась мне такой уж плохой. Хотелось вернуться к ним, в тот дом, где хотя бы знала своё место и не нужно было каждый день доказывать, что ты чего-то стоишь. Днём помогать маме по хозяйству, а вечером сидеть в своей уютной комнате и заниматься своими делами, и никто не стоит над душой, не считает твои ошибки, не взвешивает каждое слово на невидимых весах. Так часто жалею о согласии на этот брак. Хотела вырваться из клетки, а попала словно в тюрьму — только здесь стены были не каменными, а невидимыми, сложенными из упрёков и молчания, из взглядов, от которых холодеет внутри. Где за каждый проступок получаешь наказание. Удивляет ещё и то, что если нет проступков, то наказание будет за их отсутствие. Да, бывает и так.

— Что-то ты слишком стараешься мне угодить, — сказал однажды Дима. Его голос звучал ровно, почти буднично, но в нём чувствовался холод, как в предгрозовом воздухе, когда небо ещё светло, а буря уже собирается. — Из этого можно сделать вывод, что ты либо готовишь что-то за моей спиной, или уже исполняешь задуманное.

От услышанного я впала в шок, и этот шок был похож на удар током: тело оцепенело, а мысли, секунду назад живые и горячие, вдруг застыли, словно замёрзший ручей. Даже не сразу нашла, что ответить, рот открылся, но слова не шли, застряв где-то в горле. Только ответ Диме был не нужен. Он устроил скандал, и его голос заполнил квартиру, как едкий дым, проникая в каждую щель, забивая лёгкие. А потом впервые ударил меня по лицу.

Удар был резким, коротким, но от него мир качнулся, будто пол уехал из-под ног. Щека горела, и это жжение было не столько физическим, сколько внутренним, словно что-то надломилось, хрустнуло, как тонкая ветка под снегом. Говорил, виновата сама, всё время стараюсь вывести его из себя, и в его голосе было столько уверенности, что я почти поверила.

После этого я перестала так стараться, и по дому, и в работе, и в постели. Руки опустились, будто из них вынули пружину, которая до этого удерживала в напряжении. Поняла, что что бы я ни делала, Дима всё равно найдёт, к чему придраться, и это понимание было одновременно горьким и освобождающим, как первый вдох после долгого удушья. Как это было однажды.

— Что ты меня всякой экзотикой кормишь!? Я хочу нормальной еды! Борщ. Котлеты с пюре. Что сложно готовить нормально?! — его голос гремел, и слова падали, как удары, один за другим. Я стояла перед ним с ложкой в руке, и эта ложка казалась мне единственным, что ещё связывает меня с реальностью.

Я махнула на всё рукой, и этот жест был не сдачей, а чем-то большим: в нём было тихое, усталое принятие, как у человека, который долго плыл против течения и наконец позволил реке нести себя. Стала плыть по течению. Будь что будет. Развестись мне отец всё равно не даст, эта мысль стояла в голове, как гранитная стена, о которую разбивались все надежды. Я уже даже стала благодарить Бога за то, что у нас нет детей, и в этой благодарности было столько боли, что она жгла изнутри, как раскалённое железо. Да и побои стали всё чаще, и каждый

раз после них я смотрела на своё отражение в зеркале и не узнавала себя: синяки прятались под одеждой, а в глазах гасли огоньки, один за другим. Иногда даже жить не хотелось, и эта мысль приходила тихо, как ночной шёпот, и уходила, оставляя после себя холодную пустоту. Неужели вся моя жизнь будет состоять из «подай», «принеси» и побоев? Но выхода я просто не вижу. Без одобрения отца даже шага в сторону сделать страшно, и этот страх сидел глубоко, вросший в кости, как древний корень, который уже не отличить от самого дерева.

Отец в день помолвки сказал мне ясно, и его голос тогда звучал как приговор, высеченный на камне:

— Ты хорошо подумала, прежде чем согласиться на свадьбу? — я кивнула в знак подтверждения, и это движение далось легко, как всё, что делаешь в состоянии влюблённости, когда кажется, что впереди только свет. — Я дам тебе разрешение на брак. Дима мне тоже понравился. Внушает доверие. Только запомни одно. Я не позволю тебе скакать от одного мужика к другому. Если вы поженитесь, это будет на всю жизнь. Другого варианта у тебя нет.

Тогда я была на седьмом небе от счастья, и эти слова казались мне не угрозой, а объятием, обещанием, что всё будет хорошо, что теперь я в безопасности. Согласилась на всё, кивала, улыбалась, и сердце пело, как птица, выпущенная из клетки. Только теперь понимаю, какую ошибку совершила: выбежала из одной тюрьмы прямиком в другую, только эта новая была ещё страшнее, потому что в неё я вошла сама, по своей воле, захлопнув за собой замок. Но назад пути уже нет, и это «нет» звучит в голове, как эхо в пустой комнате, где давно никто не живёт.

## ГЛАВА 3

Сегодня Дима пришёл на взводе — это чувствовалось с порога, как чувствуешь приближение грозы по тяжёлому, наэлектризованному воздуху. Он не просто вошёл, а ворвался в квартиру, и за ним словно тянулся шлейф чёрного раздражения, густого и осязаемого, от которого по коже побежали мурашки. Лицо было каменным, желваки на челюстях ходили ходуном, а в глазах горел тот особый огонь, который я уже научилась безошибочно узнавать: огонь, перед которым лучше стать невидимой, раствориться, вжаться в стену. Наверное, проблемы на работе. Быстро накрыла на стол, чтобы он не сорвался на мне, — движения были суетливыми, почти паническими, руки дрожали, а тарелки звенели друг о друга, как испуганные колокольчики. Только ему было всё равно. Глянул в тарелку, и его взгляд скользнул по еде с таким презрением, будто я подала ему не ужин, а личное оскорбление. Сразу начал орать:

— Сколько можно?! Ты специально это делаешь? Я не буду жрать эту бурду!

Схватил тарелку и швырнул в стену. Осколки разлетелись по кухне, как злые искры, — мелкие, острые, они впивались в обои, в пол, в тишину, которая за секунду до этого ещё была живой. Спагетти сползли по обоям, безбожно пачкая их красными разводами соуса, словно кто-то провёл по стене окровавленными пальцами, и шмякнулись на пол, расплывшись жирной, бесформенной массой, в которой отражался тусклый свет кухонной лампы.

Дима подлетел ко мне, и его шаги гулко отдавались по кафелю, как удары сердца, который вот-вот остановится. Положил свою большую ладонь мне на лицо, и эта ладонь была тяжёлой, горячей, словно клеймо, и с силой толкнул назад. Отлетев, я столкнулась спиной с холодильником, больно ударяясь головой о его холодную, металлическую поверхность. Удар отозвался внутри черепа короткой, ослепительной вспышкой, и мир на мгновение поплыл, теряя очертания. Медленно оседая на пол, закрыла голову руками, ожидая новых ударов, и в этом жесте было столько привычной, въевшейся в тело покорности, что от этого стало ещё страшнее.

— Даже руки об тебя марать не хочу, — прорычал он, и в этом рыке было больше брезгливости, чем гнева.

Услышала звук, напоминающий плевок, — мокрый, громкий, унизительный, — а потом почувствовала, как по волосам что-то потекло, тёплое и вязкое, стекающее на лоб, на щёки, на

шею. Его шаги стали отдаляться, и каждый шаг звучал как приговор, как точка в конце фразы, которая ещё не закончена, но уже не подлежит обжалованию. Ушёл в спальню, и дверь за ним закрылась с тихим, почти будничным щелчком, который прозвучал громче любого удара.

Я медленно поднялась, и тело отзывалось болью — спина ныла, голова гудела, а волосы слипались от влаги, которая медленно стекала на плечи, оставляя на рубашке тёмные, влажные следы. Стала собирать осколки, и каждый из них резал пальцы, но я почти не чувствовала боли — привычная, она уже стала частью меня, как дыхание. Потом принялась за мытьё пола, и тряпка скользила по кафелю, стирая следы соуса, грязи и унижения, будто можно было стереть их так же легко, как пятна с плитки.

Из мыслей меня выдернул громкий хлопок входной двери. Ушёл. Мысленно выдохнула я, и этот выдох был похож на тот, что делаешь, когда наконец выбираешься из-под воды: жадный, рвущийся, наполненный облегчением, которое тут же смешивается с тревогой: вернётся, и тогда всё начнётся сначала. Опустила голову. Пока вспоминала свою жизнь, один небольшой участок натёрла до блеска, и кафель в этом квадрате сиял, как маленькое, чистое озерцо посреди грязного болота. А вокруг было ещё много жира и грязи, и в их сравнении с этим крошечным чистым пятном было что-то горькое и почти символичное.

Закончив уборку, отмыла голову от плевка, и вода в раковине становилась мутной, розоватой, как разбавленное вино. Волосы были мокрыми, тяжёлыми, и я долго сушила их полотенцем, будто пыталась вместе с влагой стереть и прикосновение его руки. Села за компьютер, и привычный гул монитора был почти музыкой — единственным звуком в этом доме, который не причинял боли. Хотела поработать, но увидела сообщение в социальной сети от Виктории, и сердце при упоминании этого имени откликнулось тёплым, почти забытым трепетом, как откликается растение, которое долго не поливали, на первый глоток воды.

Виктория — «Привет. Как жизнь? Я приеду послезавтра. Встретимся?»

Я — «Всё нормально. Конечно, встретимся. Звони.»

Хоть что-то хорошее произойдёт в моей жизни. Буду ждать встречи с нетерпением, и эта мысль была как маленький огонёк, который зажегся где-то в глубине, в том месте, где уже давно не было света. Немного поработала и легла спать. Дима так и не появился, и пустая половина кровати казалась мне не свободой, а зияющей дырой, в которую проваливался сон, измученный, тревожный, похожий на дремоту человека, который знает, что проснётся не отдохнувшим, а лишь с новой порой страха.

Вернулся только следующим вечером, и его появление было похоже на возвращение стихии, которая ушла, чтобы собраться с силами. С порога начал:

— Что, всё бездельем маешься? — голос его звучал как удар бича, резкий, хлёсткий, не оставляющий ни единого шанса на ответ. — Что ты смотришь на меня своими рыбьими глазами?! Как ты мне надоела. Ни кожи, ни рожи! К жизни не приспособлена совсем. Словно не жену, а зверушку завёл. Крысу! Да, точно, крысу: толку ноль, только портишь всё.

На глаза навернулись слёзы, и они стояли там, не падая, — тяжёлые, горячие, как свинцовые капли, которые вот-вот сорвутся. За что он так со мной? Я из кожи вон лезу, чтобы ему угодить, а Дима всё время чем-то не доволен, и это «чем-то» каждый раз новое, как будто он сам придумывает причины, лишь бы не переставать бить. Интересно, есть в мире девушка, способная ему угодить? Эта мысль мелькнула и тут же погасла, раздавленная его голосом.

— Молчишь? — продолжал он. — Молчи, молчи. Сказать-то всё равно нечего. Знаешь, что я прав. Знаешь, что добрый и буду терпеть тебя всю жизнь. Кому ты такая ещё нужна-то. Ты как пакостливый котёнок: терпеть невозможно, но и выкинуть жалко.

Терпеть унижения не было сил, но и спорить боялась, чтобы не получить, и этот страх сковал тело, как ледяной панцирь, не давая ни двигаться, ни дышать полной грудью. Не в силах сдержать поток слёз, они вырвались наружу, горячие, обжигающие, и катились до подбородка, капая на пол, — тихие, беззвучные, словно даже плакать громко было запрещено.

— Хватит реветь! Неси свою карту, — бросил он, и в этих словах не было ни просьбы, ни вопроса — только приказ, как будто я была не женой, а подчинённой, которая не имеет права на отказ.

— Зачем? — аж икнула от неожиданности, и голос прозвучал тонко, жалобно, как писк зверька, которого прижали к стене.

— Деньги нужны, кредит заплатить, — снизошёл до объяснений, и в этом «снизошёл» было столько снисходительности, будто он делал мне одолжение, удостаивая ответом.

— Какой? — вырвалось у меня, и в этом вопросе было столько растерянности, что я сама себе показалась жалкой.

— Какой, какой? Обычный. Всё в семью несу.

— Но мы же ничего не покупали, — не понимала я, и в голосе прозвучало искреннее, почти детское недоумение, будто я пыталась решить задачу, в которой не хватает данных.

— Конечно, не покупали. А ели мы на что? А за квартиру чем платили? Сидишь на всём готовом и не замечаешь, где я деньги беру! Неси, я сказал!!! А то сейчас как дам! — он замахнулся, и этот замах был не угрозой, а обещанием, которое я знала, он выполнит.

Выскочила из прихожей и побежала за картой, и ноги не слушались, путались, натыкались на углы, как будто квартира внезапно стала лабиринтом. Отдала, и Дима ушёл, даже пин-код не спросил. Он ведь без него деньги не сможет снять, — эта мысль мелькнула, и в ней было что-то похожее на слабую, почти истерическую надежду: может, хоть тут он ничего не сможет сделать. Но через двадцать минут телефон пиликнул уведомлением, и этот тихий, безобидный звук прозвучал как выстрел. Глаза полезли на лоб. Дима снял всё подчистую, все шестьдесят с лишним тысяч, — мои деньги, заработанные бессонными ночами, переведённые тексты, написанные контрольные, — всё, что было, исчезло в один щелчок. Выходит, пин-код знал. Знал и раньше, молча, терпеливо, как всё в этой жизни, где мои секреты перестали быть моими, а стали его, как и я сама.

Димы опять не было сутки. Эти двадцать четыре часа тянулись мучительно долго, и каждая минута пульсировала тревогой, как воспалённая рана. Я то и дело поглядывала на дверь, прислушивалась к каждому звуку за ней, и всякий раз, когда в коридоре раздавались чужие шаги, сердце подпрыгивало к горлу, а потом падало обратно, тяжёлое и обмякшее. Заявился вечером в подвыпившем состоянии, и этот запах — горький, кисловатый, с примесью дешёвого одеколона — опережал его, влетая в квартиру раньше, чем он сам переступал порог.

— Димочка, ты кушать будешь? — хотела сгладить напряжённую ситуацию, и голос мой прозвучал тонко, осторожно, как голос человека, который ступает на тонкий лёд и знает, что в любой момент может провалиться. — Я борщ сварила, как ты хотел.

— Да неужели начала меня слушать, — бросил он, и в этих словах не было радости, только ядовитая насмешка, как будто моё старание было не заслугой, а запоздалой данью, которую он принимал как нечто само собой разумеющееся.

Мы прошли на кухню, и я накрыла на стол, расставляя тарелки с почти ритуальной аккуратностью, будто от того, как ровно ляжет ложка, зависело, будет ли сегодня мир в этом доме или снова рухнет. Встала напротив. Дима принялся за еду, и стук ложки о кромку тарелки был единственным звуком, нарушавшим тишину, — глухим, мерным, как метроном, отсчитывающий секунды до взрыва.

— А где моя карточка? — начала осторожно, и каждое слово приходилось выталкивать из себя, как камень, который застрял в горле.

— У меня, а что? — ответил с набитым ртом, даже не подняв глаз, будто разговор о деньгах был такой же мелочью, как муха на стене.

— Ты мне её вернёшь?

— Зачем? Всё равно дома сидишь. Да ты и деньгами распоряжаться не умеешь. Я найду им лучшее применение, — самодовольно выдал Дима, и в его голосе была та сытая уверенность, которая бывает у людей, присвоивших себе то, что им не принадлежит, и уже искренне верящих, что так и должно быть.

Поняла, что спорить бесполезно, и это понимание опустилось на плечи тяжёлым, безразличным грузом. Только зря я вообще завела этот разговор, и теперь жалеющая себя мысль билась в голове, как мотылёк о стекло, — бессмысленно и обречённо.

— Что ты стоишь тут, обиженную из себя строишь? Сидишь на всём готовом. Ни о чём не думаешь. Чего тебе ещё не хватает? Ни забот, ни хлопот. В потолок плюёшь с утра до вечера. Сказала бы лучше спасибо, что терплю тебя бракованную! — голос его набирал обороты, и каждое слово было как новый удар, и от них уже не было спасения, потому что били они не по телу, а по тому месту, где живёт чувство собственного достоинства, по тому месту, которое и так давно превратилось в выжженную, пустую землю.

— Спасибо, — тихо произнесла, лишь бы успокоился, и это слово прозвучало как сдача, как белый флаг, который поднимают не от победы, а от полного истощения.

— Что-то мало искренности в твоих словах! — взревел как дикий зверь, и этот рёв заполнил кухню, отдаваясь от стен, от потолка, от кафеля, словно сама комната содрогнулась от его ярости.

Рукой сбросил на пол всё со стола, и тарелки, кружки, ложки полетели вниз, как стая испуганных птиц, не успевших взлететь. Горячий суп плеснулся через край, расползаясь по полу тёмно-красной, дымящейся лужей, и его запах — мясной, наваристый, тот самый, который я варила с такой надеждой — смешался с запахом разрушения. Еле успела отпрыгнуть, чтобы не ошпариться, и в этом движении было столько отчаянной, животной ловкости, что стало ясно: тело уже научилось спасаться быстрее, чем разум успевает понять, от чего.

— Прибери здесь, всё равно заняться нечем. Мыть пол — это единственное, что у тебя получается, — бросил он, и в этих словах была та особая жестокость, которая бьёт не кулаком, а словом, после которого хочется стать меньше, незаметнее, исчезнуть.

Дима вышел из кухни, а я принялась за полы, обильно поливая их слезами, которые капали вниз, смешиваясь с остывающим супом, и в этом смешении было что-то настолько жалкое, что даже плакать было стыдно. Скорей бы уже завтра. Приедет Вика. Мне очень нужен глоток свежего воздуха, и эта мысль была как соломинка, за которую хватается утопающий, — тонкая, хрупкая, но пока она есть, ещё можно держаться на поверхности.

Утро началось неповторимо. Я забыла телефон в гостиной и, соответственно, не слышала будильник, и это забвение было роковым, как случайность, которая приходит именно тогда, когда меньше всего можешь её себе позволить. Дима проснулся, завтрака нет, а я сплю. Он за ногу стащил меня с кровати, и рывок был таким резким, что тело повиновалось не ему, а силе, как тряпичная кукла, которую швыряют на пол. От встречи с кафелем резко открыла глаза, пытаясь понять, что произошло, и в первую секунду мир был просто набором размытых пятен — потолок, стена, дверной проём, — которые потом сложились в картину, от которой внутри всё заледенело. На меня обрушился поток нецензурной речи, и каждое слово было как удар кованого сапога, методичный, выверенный, бьющий туда, где больно сильнее всего:

— Ты совсем охуела?!!! Я что, голодный пойду?! Подняла свою задницу и пошла готовить завтрак! Лежит она тут царевна! Шмара ты подзаборная, а не царевна. И только попробуй испортить завтрак!

Прибежала на кухню в чём была, и босые ноги шлёпали по холодному полу, а тело не успело проснуться, но уже бежало, повинуясь страху, который давно стал двигателем, сильнее любого кофе. Руки тряслись, сердце выпрыгивало из груди, стучало где-то в горле, мешая дышать. Боялась что-то испортить, поэтому выбрала самое простое: кофе и бутерброды. Включила кофе-машину, нарезала хлеб, сыр, ветчину и помидор, и нож скользил неровно, дрожа-

щими движениями, так что пару раз чуть не порезалась. Уложила всё на тарелку, и каждый ломтик ложился криво, неровно, как моя жизнь, и я смотрела на эту тарелку и думала: «Только бы не бросил. Только бы съел. Только бы ушёл спокойно». Поставила кофе. Муж зашёл, оценивая взглядом стол, и его глаза скользнули по тарелке с той же брезгливой дотошностью, с которой инспектор осматривает бракованный товар.

— Ты вообще меня любишь?

Так хотелось крикнуть «нет». Нет! НЕТ! НЕТ!!! Больше не люблю, только боюсь, и страх этот давно вытеснил всё остальное, заполнив собой каждую клетку, каждый угол, каждую секунду. Но я молчала, и в этом молчании было всё: и бессилие, и смятение, и тихая, безнадёжная покорность человека, который уже не помнит, как звучит его собственный голос, когда он говорит правду. Дима продолжил:

— Ты собиралась мужа кормить или свиней в хлеву?! Что-то нормальное приготовить ума не хватило?!

— Времени мало было, — пыталась оправдаться я, даже не зная зачем, и слова прозвучали пусто, как эхо в пустой комнате, — ведь оправдания ему не нужны, нужны повод и жертва.

— Дрыхнуть надо меньше! Тогда и времени на всё хватит!

Схватил кружку с горячим напитком и бросил в меня, и жидкость рассеклась в воздухе тёмной, обжигающей дугой. Кофе попал на руку и бедро, и боль была резкой, острой, как от прикосновения раскалённого железа, — она вгрызлась в кожу, растекаясь по ней красными, вздувшимися дорожками. После молча вышел, хлопая дверью, и этот хлопок прозвучал как точка, после которой не ставится ничего. Руку и бедро обожгло болью, и она пульсировала, живая, настырная, как второе сердце, которое забилось в тех местах, куда он метил. Кинулась в ванную, на ходу снимая ночную сорочку, и ткань прилипала к обожжённой коже, и каждый рывок отзывался новой волной жжения. Рука покраснела, бедро тоже, и красные пятна расползались по коже, как пожар по сухой траве. Нашла в аптечке мазь от ожогов и обильно смазала повреждённые места, и мазь была холодной, почти успокаивающей, но это облегчение было временным, как всё хорошее в этом доме. Оделась и вернулась навести порядок, и кружка валялась на полу, лужа кофе уже впиталась в кафель, оставив тёмный, липкий след, похожий на тень, которая не уходит даже когда гаснет свет.

Вика позвонила спустя час, после завершения уборки, и этот звонок прозвучал как колокол, который бьёт ровно в тот момент, когда кажется, что тишина уже никогда не нарушится. Я быстро собралась и побежала на встречу с подругой, и каждый шаг прочь от дома был как глоток воздуха после долгого удушья, и лёгкие наполнялись чем-то новым, незнакомым, от чего кружилась голова, будто я не дышала.

— Привет, моя дорогая, — улыбалась Вика, сидя за столиком кафе, и в её улыбке было столько тепла и жизни, что на мгновение мне показалось, будто я смотрю на солнце после долгой, бесконечной ночи.

— Привет, — отозвалась я, присаживаясь напротив, и голос прозвучал хрипловато, почти чуждо, как голос человека, который долго молчал и забыл, как звучат его собственные слова, когда они не оправдание и не «спасибо», сказанное лишь бы не били.

— Ну, рассказывай, как жизнь? — и в этом простом, обыденном вопросе было столько открытости, столько готовности слушать, что у меня на мгновение перехватило дыхание, и слёзы, которые я весь день сдерживала, подступили к горлу, горячие и тяжёлые, как камни, которые больше невозможно держать внутри.

## ГЛАВА 4

— Ну, рассказывай, как жизнь? — улыбалась Вика, и в её улыбке было столько открытости, столько безмятежной уверенности человека, который живёт в согласии с собой и миром,

что от этого стало одновременно тепло и больно, как бывает, когда прикрываешь глаза и подставляешь лицо солнцу после долгого пребывания в тёмном, сыром подвале.

— Да, всё нормально. У тебя как? — хотела перевести тему, и этот манёвр был таким неуклюжим, таким прозрачным, что я сама себя почувствовала фокусником, у которого рукава короче, чем нужно для фокуса.

— Я же замуж вышла! — оживилась она, и это «вышла» прозвучало не как сообщение, а как фанфара, как объявление победы, которую она готова была кричать на весь мир. — Поэтому так долго и не приезжала. Дел много было. Мы купили дом. Делали ремонт. Ты представляешь! Я спальню сделала в белых и молочных тонах. Шкафы, кровать, шторы — абсолютно всё, — у неё блестели глаза от собственного рассказа, и этот блеск был похож на свет окна, в которое бьётся солнце, — тёплый, живой, почти осязаемый. — Весь дом оформила так, как мечтала. Потом искала работу. Муж сказал, могу вообще не работать, он сможет обеспечить семью сам. Вот теперь сижу дома. Смотрю фильмы, книги читаю. Ну, конечно, по дому дела делаю, но на себя тоже времени предостаточно. Недавно телефон разбила. Так расстроилась. Паша сказал: не переживай, купим новый. Поехали, купили. Даже лучше, чем был. Ещё шубку прикольную взяла и сапожки…

Слушала и думала, и мысли текли тяжело, как густая, холодная патока. Неужели так бывает? Неужели где-то, в параллельной с моей жизни, мужья не бьют, не орут, не швыряют тарелки в стены, а говорят «не переживай, купим» — и покупают? Я вот тоже хотела купить новую куртку. Дима ответил, что я никуда не хожу и куртка мне не нужна, старой хватит, и в этом «хватит» было столько ледяного равнодушия, будто он говорил не о куртке, а о моей потребности в тепле, в защите, в том, чтобы чувствовать себя человеком. Телефон новый? Радуюсь, что старый не отобрал, как карту, и эта «радость» была такой жалкой, такой приниженной, что от неё хотелось плакать. В душе такая боль стала разливаться, густая, тёмная, поднимающаяся от живота к горлу, аж дышать трудно стало, будто кто-то медленно, методично выкачивал из комнаты воздух.

Так сильно ушла в свои мысли, что не сразу заметила, как Вика перестала рассказывать, а начала спрашивать, и её голос, полный тревоги, пробился сквозь туман моего оцепенения, как луч фонарика в темноте.

— Что? Прости, задумалась, — вздрогнула я, и это «задумалась» прозвучало как дешёвая отговорка, которую мы обе слышали насквозь.

— Я спрашиваю, у тебя-то как?

— Всё хорошо, — сказала с натянутой улыбкой, и эта улыбка была как свежая краска на гнилой стене: снаружи ярко, а внутри труха.

— Не верю. Рассказывай давай, — настаивала Вика, и в её голосе зазвенела та самая нотка, которую я помнила ещё со школы, — непреклонная, упрямая, не принимающая отказов.

— Да, правда, всё нормально, — продолжала стоять на своём, но голос уже дрожал, и эта дрожь была такой явной, что скрыть её было невозможно, как невозможно скрыть дым от пожара.

— Я знаю тебя не первый день. Хватит отпираться. Я же вижу, что-то случилось. Мы же подруги. Что произошло? Долги? Кто-то болеет? Что? Я помогу, — Вика ждала ответа, и в её взгляде было столько настойчивой, почти агрессивной заботы, что от него хотелось и спрятаться, и расплакаться одновременно. А я не хотела рассказывать, что всё плохо, потому что произнести это вслух — значит признать, признать, что я сделала ошибку, что моя жизнь превратилась в кошмар, из которого нет выхода, что я, Милена, которая так мечтала о счастье, оказалась там, откуда нет дороги назад.

— С чего ты взяла? Всё хорошо. Правда, — я постаралась улыбнуться шире, но губы не слушались, и улыбка вышла кривой, односторонней, как перекошенная дверь, которая уже не закрывается.

— Мне ты можешь не врать. Я тебя слишком хорошо знаю. Я поэтому всё бросила и приехала. Мы разговаривали с тобой за день до твоей свадьбы по видеосвязи. Тогда у тебя так горели счастьем глаза. Ты была самая счастливая на свете. Ты просто искрилась счастьем, — и при этих словах что-то внутри меня сжалось, будто кто-то нажал на рану, о которой я забыла. — С каждым нашим последующим разговором это счастье меркло. Теперь же ты похожа на тень. Сейчас ты выглядишь гораздо хуже, чем в те дни, когда отец прессовал тебя сильнее всего. Так что рассказывай, — безапелляционно заявила Виктория, и в её голосе не было ни сомнений, ни колебаний, только та железная уверенность, которая бывает у людей, давно научившихся отличать правду от того, что маскируется под правду. — Я помогу. Сделаю всё возможное и невозможное, что в моих силах.

Слушая её пламенную речь, на глаза накатывались слёзы, и они стояли, не падая, тяжёлые и горячие, как свинцовые шарики, которые вот-вот сорвутся. И я сдалась, и эта сдача была похожа не на поражение, а на внезапный, болезненный выдох, который делаешь, когда слишком долго держал дыхание и лёгкие уже не выдерживают. Стала рассказывать всё, с дня свадьбы и по сегодняшний день, и слова выходили из меня не ровным потоком, а рывками, толчками, как кровь из раны, которую только что открыли. Выплёскивала всё: всё, что накопилось, всё, что таилось внутри, в тёмных углах, куда я сама боялась заглядывать. Вся боль и отчаяние, что прятались за ежедневным-выражением «всё нормально», вырвались наружу, и этот прорыв был похож на разрыв плотины, за которой слишком долго копилась вода. Я выплёскивала все эмоции, и вместе с ними выходила усталость, и страх, и стыд, и бесконечное, изматывающее чувство собственной ничтожности, которое Дима вколачивал в меня день за днём, слово за словом, удар за ударом. Вика слушала, не перебивая, и в её глазах, которые я иногда ловила между фразами, отражалась такая боль за меня, что от неё становилось ещё страшнее, потому что чужое сочувствие — это зеркало, в котором видишь себя со стороны, и то, что видишь, страшнее любого кошмара. А я была рада, что появился человек, готовый меня выслушать, поддержать и, возможно, помочь, и эта радость была похожа на радость утопающего, который наконец нащупал под ногами дно. К концу рассказа я буквально умывалась слезами, и они текли уже без стыда, без попыток их остановить, — просто текли, смывая с лица то, что я так долго носила на нём: маску «всё хорошо», маску «я справлюсь», маску «это моя вина».

— Вот как-то так, — закончила я, и голос прозвучал хрипло, надтреснуто, как у человека, который долго кричал в пустоту и наконец замолчал.

Наступила тишина, и она была не пустой, а плотной, насыщенной, как воздух перед грозой. Виктория сделала глоток кофе и поставила пустую кружку на стол, и фарфор тихо звякнул о дерево, как точка в конце паузы, которая была длиннее любого монолога.

— Ммм дааа, — начала Виктория, и в этом «дааа» было столько всего: и сочувствие, и гнев, и растерянность, и решимость, — что оно прозвучало как вступление к битве. — Вот мудак! Как ты терпела всё это три года? Ты почему раньше не рассказала?! Да я бы на твоём месте ему уже глаз на жопу натянула! Как так можно вообще?! — подругу понесло, и её возмущение набирало обороты, как ураган, который начинается с лёгкого ветра и превращается в стену, сносящую всё на своём пути. — Так, собираешься и едешь со мной, — вынесла свой вердикт она, и в этом «вердикте» не было ни просьбы, ни предложения, — только команда, которую она бросила, как спасательный круг, не давая мне времени отказаться.

— Так нельзя. А как же твой муж? Что он скажет? — и в этих словах прозвучал мой страх, который сидел так глубоко, что стал частью меня, — страх перед тем, что любое моё решение кому-то не понравится, что за любой шаг последует наказание.

— Ничего не скажет. Пусть только попробует, — подняла гордо голову, и в этом жесте была вся Вика: несгибаемая, неуступчивая, готовая драться за тех, кого любит, до последнего вздоха.

— Я так не могу. А как же родители? Отец? — я так боялась что-то менять, и этот страх был похож на цепь, которую я носила так долго, что уже перестала замечать её тяжесть, пока кто-то не показал, что замок не заперт.

— Какой отец? Жизнь одна. Второй попытки не будет. Ты хочешь прожить всю жизнь в страданиях? Терпеть все издевательства? Только чтоб отец был счастлив. Чего ты этим добьёшься? Положишь свою жизнь к ногам отца? Он выбрал свою жизнь сам, и ты должна выбирать сама! — и каждое её слово было как удар, но не такой, к каким я привыкла, — не разрушающий, а выбивающий из глаз пелену, и от этого было больно и светло одновременно.

— Так я и выбрала, — возразила я, но голос прозвучал слабо, почти жалобно, как последнее оправдание, которое уже не веришь сама.

— Ну, ошиблась, с кем не бывает. Пока не поздно, надо что-то менять, — и в этих словах было столько простого, безыскусного здравого смысла, что они пробились даже сквозь мои страхи, как трава сквозь асфальт.

— Кому я нужна: разведённая, после другого мужчины. Готовлю плохо. Детей родить не могу. Да и в остальном не идеал, — произнесла я, и каждое слово из этого списка было не моим, а Диминым, но я повторяла его так давно, что уже принимала чужой голос за свой, как принимают старую, заношенную одежду за часть собственного тела.

— Уууу, как же он тебе мозги промыл. Столько комплексов развил. У меня возникает только одно желание: поехать и проломить ему голову чем-нибудь тяжёлым, — и Вика сказала это с такой убийственной серьёзностью, что я на мгновение испугалась: она и вправду поедет.
— Значит так, слушай меня внимательно и запоминай. Мы живём в двадцать первом веке. Сейчас мужиков не интересует твоя невинность. Замуж можно и десять раз выйти, и, кстати, без одобрения отца. Что касается детей — так может, Бог вам их и не давал из-за твоего козла мужа. Готовишь ты прекрасно, хозяйство ведёшь тоже. Он просто к тебе придирался. Так что у тебя есть все шансы найти нормального мужика. Я тебя заберу к себе. Отойдёшь немного от этого утырка, а потом всё у тебя наладится, — и она говорила это с такой уверенностью, будто уже видела моё будущее, и в этом будущем было солнце, и чистые стены, и запах чего-то, что не было страхом.

— Так у меня ни паспорта, ни денег, — почти сдалась я, и в этих словах было столько отчаянного, жадного желания верить, что голос дрогнул, как дрожит рука, которая тянется к чему-то желанному, но боится, что это мираж.

— С деньгами я помогу. А паспорт? Так. Едешь домой, забираешь паспорт и приезжаешь к моей маме. Я тебя там дождусь, и сразу уедем, — и план, который Вика выложила просто и быстро, как раскладывает карту на стол опытный игрок, был таким чётким, таким безоговорочным, что мне захотелось схватиться за него обеими руками, как хватаются за край крыши, когда земля уходит из-под ног.

## ГЛАВА 5

Ехала домой с двоякими чувствами, и они разрывали меня изнутри, как два течения, столкнувшиеся в одном русле. С одной стороны, теплилась надежда на светлое будущее — маленькая, робкая, как первый росток, который пробивается сквозь мёрзлую землю, не зная, выживет или погибнет. С другой — так боялась что-то менять, и этот страх был древним, вросшим в кости, как корень, который уже не отличить от самого дерева. Вдруг ничего не получится и станет только хуже? Вдруг Дима застанет меня дома и изобьёт? Посадит под замок и станет измываться ещё больше, и тогда уже не будет даже тех крох относительного покоя, которые я с таким трудом научилась выхватывать между его приступами ярости. Может, оставить всё как есть? Сейчас хотя бы всё более или менее терпимо, и эта мысль была предательски уютной, как тёплое одеяло, под которым прячешься, зная, что дом горит. Ещё и страх перед отцом —

тёмный, привычный, как тень, которая следует за тобой с самого детства. Боюсь его разочаровать, не оправдать его надежд, и этот страх был абсурдным, потому что я не могла вспомнить ни одного случая, когда бы он мной гордился, но всё равно цеплялась за эту иллюзию, как цепляется утопающий за соломинку, которая уже давно ушла под воду. Если он отвернётся от меня или откажется, мне даже некуда будет вернуться в случае чего, и от этой мысли внутри всё сжималось в тугой, холодный комок.

Домой заходила на трясущихся ногах, и каждый шаг по лестнице отдавался гулким эхом, как биение сердца, которое стучит слишком громко, слишком быстро, будто хочет вырваться из груди. Прошла по квартире, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому скрипу половиц, и тело было напряжено, как натянутая струна, готовая лопнуть от малейшего прикосновения. Вроде Димы нет. Немного выдохнула, и этот выдох вышел дрожащим, рваным, как у человека, который слишком долго задерживал дыхание. Направилась к тумбочке, где лежали все документы, и пальцы скользили по бумагам, бумагам, бумагам, в которых я не могла найти то единственное, что было нужно. Никак не могла найти паспорт. Стала нервничать, и нервозность нарастала, как шум в ушах, который начинается тихо, а потом заглушает всё. Не мог же он носить его с собой? Или мог? Эта мысль обожгла, как крапива, и руки стали перебирать документы быстрее, почти рвать их, разбрасывая по тумбочке, как осенние листья. Отыскав наконец-то паспорт, кинула в сумку и побежала в спальню, и ноги несли меня так, будто пол под ними мог в любой момент провалиться. Покидала самые необходимые вещи в пакет — машинально, почти не глядя, хватая первое, что попадалось под руку: футболку, свитер, бельё. Будет хоть во что переодеться первое время, и эта мысль была такой простой, такой бытовой, что от неё стало почти смешно — вся моя жизнь рушилась, а я думала о чистых футболках.

Пошла на выход, когда краем глаза зацепилась за документы, лежащие на полу. Надо убрать на место, чтобы Дима дольше не заметил моего бегства, и в этом порыве было что-то жалкое, что-то от привычки затирать следы, как делает зверь, который слишком долго жил в клетке и даже на воле оглядывается, не увидит ли хозяин. Подошла, стала собирать всё обратно, и руки уже дрожали от нетерпения, от страха, от желания бросить всё и бежать, но что-то заставляло меня быть аккуратной, методичной, будто я ещё пыталась сохранить видимость порядка в жизни, которая уже давно была хаосом. Случайно наткнулась на два заключения врача после обследования. Стало любопытно, что конкретно там написано, и это любопытство было тихим, почти случайным, как луч света, который падает на щель в стене и вдруг открывает то, что было спрятано. Дима так и не показал. Сказал, что здоровы и всё, и в этом «всё» было столько небрежности, столько снисходительности, что тогда я не заподозрила ничего, а просто приняла, как принимала всё, что он говорил, — безоговорочно, покорно, как принимают лекарство, которое на самом деле яд.

Начала читать своё: «Отклонений не выявлено», гласило заключение, и эти слова, ровные, безликие, напечатанные на белой бумаге, прозвучали в моей голове как колокол, который бьёт не по ушам, а по чему-то более глубокому, по тому месту, где три года жила вина, которая никогда не была моей. Пробежала глазами по Диминому и застыла в немом шоке, и это оцепенение было похоже на то, что испытывает человек, когда земля уходит из-под ног, но он ещё не падает, ещё висит в воздухе, не веря, что это происходит. «Бесплодие». Всё, что смогла понять. Там было множество медицинских терминов, и они путались перед глазами, сливаясь в пестрый, неразборчивый узор, но это одно слово горело на бумаге, как выжженное клеймо, и от него расходились круги, которые задевали всё: каждый упрёк, каждое «дефектная», каждое «не можешь родить», каждый скандал, каждая ночь, когда я молилась, чтобы Бог послал нам ребёночка, и плакала в подушку, думая, что со мной что-то не так. Листы выпали из рук, веером разлетаясь вокруг, и в этом медленном, почти красивом падении было что-то такое окончательное, как падение занавеса после последнего акта. Вскочила на ноги и выбежала из квартиры, не помня себя от нахлынувших эмоций, и они захлестнули, как волна, кото-

рая накрывает с головой, не давая ни дышать, ни думать, ни чувствовать ничего, кроме этого единственного, ослепительного слова: «Бесплодие». Не помню, закрыла ли квартиру. Забыла взять пакет с вещами. Забыла сложить все документы обратно. Всё бросила как есть и убежала, и в этом бегстве не было ни плана, ни мысли, ни направления — только потребность быть как можно дальше, бежать, бежать, бежать, пока ноги несут, пока воздух есть в лёгких, пока это слово не догнало и не раздавило.

Очнулась уже сидя в автобусе, и это «очнулась» было похоже на пробуждение от дурного сна, только сон не кончился, а просто сменил декорации. За окном проплывал город, безразличный, серый, как всегда, и мне захотелось, чтобы он исчез, чтобы всё исчезло, чтобы осталась только тишина. Подошла женщина и требовала билет, и её голос звучал ровно, буднично, как будто в мире всё было в порядке, как будто не было на свете женщины, у которой только что выбили землю из-под ног.

— У меня нет, — ответила в растерянности, и голос прозвучал чужим, тонким, как будто принадлежал не мне, а кому-то другому, кому-то очень маленькому и очень потерянному.

— Тогда покупай.

— У меня денег нет, — сказав, почувствовала себя нищенкой, и это чувство было не метафорой, а реальностью, острой и унизительной, как холодный ветер, который пробирает до костей. Ни денег, ни вещей. Как я докатилась до такого? И этот вопрос не требовал ответа, потому что ответ был слишком длинным, слишком тяжёлым, слишком больным, чтобы произносить его вслух.

— Тогда выходи. Зайцев мы не возим, — и эти слова прозвучали как приговор, не грубый, а будничный, от которого было ещё обиднее, потому что они были не про меня, не про мою боль, а про правила, про протокол, про то, что в этом мире я уже была никем — ни билета, ни денег, ни имени, ни дома.

Опустила глаза в пол. Лицо залилось краской стыда, горячей, жгучей, как ожог, и эта краска была видна, наверное, всем: и женщине с билетами, и пассажирам, и самому автобусу, который, казалось, тоже смотрел на меня с укором. Встала у дверей в ожидании, когда они откроются, и каждая секунда ожидания была как маленькая вечность, наполненная чужими взглядами, которые я чувствовала спиной. Как только это произошло, выскочила и побежала без оглядки, и ноги несли меня прочь, и ветер бил в лицо, и от него слёзы высохли на щеках, оставив только солёные, стянутые следы.

Как он мог? Как мог так поступить со мной? Он не может иметь детей, а винил во всё меня, и в этом обвинении было столько жестокости, столько расчётливой, хладнокровной лжи, что от неё веяло чем-то ледяным, нечеловеческим. Постоянно упрекая меня в несостоятельности, он не просто обманывал — он убивал, методично, день за днём, слово за словом, и я умирала, не зная, что убийца — это не тот, кто бьёт, а тот, кто лжёт, глядя в глаза. Жалость к себе росла как снежный ком, имея все шансы превратиться в лавину и снести всё на своём пути, и в этой лавине были все три года: побои, оскорбления, бессонные ночи, пересоленная еда, выглаженные рубашки, спагетти на полу, кофе на коже, и пустая половина кровати, и полные глаза слёз, и ни одного дня, ни одного, когда бы я проснулась и не боялась. Мысли метались из стороны в сторону, как пойманные птицы в клетке, и каждая билась о прутья, не находя выхода. Искала ответы на свои вопросы и не находила, потому что ответы были такими, которые не хочешь знать, но уже не можешь не знать. Неожиданно в голове мелькнула шальная мысль, и она вспыхнула, как спичка в тёмной комнате, — яркая, отчаянная, почти безумная. Быстро поменяв траекторию движения, направилась к родителям, и ноги несли меня сами, будто тело знало то, чего ещё не знал разум. Дорога была недолгой, но каждая минута была наполнена таким напряжением, что полчаса показались вечностью. Спустя полчаса я стояла на пороге отчего дома, и этот дом смотрел на меня своими тёмными окнами, как лицо, которое не радуется, а оценивает.

— Здравствуй, доченька, — улыбалась мама, и в её улыбке было столько тепла, столько тихой, домашней привычки, что от неё защипало в глазах, как от запаха хлеба, когда ты голоден. — Что же ты не сказала, что придёшь, я бы чего-нибудь вкусненького приготовила.

— Спасибо, не надо. Я пришла поговорить с отцом, — и голос прозвучал ровно, почти спокойно, но за этой ровностью стояла такая решимость, которую я сама от себя не ожидала.

— Что-то случилось? — забеспокоилась мама, и в её глазах мелькнул страх — не за меня, а за привычный порядок вещей, который, она чувствовала, был под угрозой.

— Многое, — коротко ответила я, и это «многое» вместило в себя столько, что хватило бы на несколько жизней, каждая из которых была бы несчастливой.

Спустя минут десять мы сидели всей семьёй за кухонным столом. Мама приготовила чай, и его запах — травяной, тёплый, почти успокаивающий — наполнял кухню, но не мог заглушить того напряжения, которое висело в воздухе, как дым перед пожаром. Сил не было сделать глоток. Просто грела руки о кружку, и тепло её проникало в ладони, но не шло дальше, застревая где-то в запястьях, будто тело знало, что впереди — холод, и готовилось к нему.

— Ну, рассказывай, — припечатал отец пронзительным взглядом, и этот взгляд был мне знаком с детства: тяжёлый, давящий, как камень, который кладут на грудь, чтобы проверить, выдержишь или сломаешься.

— Я хочу развестись, — тихо проговорила, ожидая реакции, и в этом «тихо» было столько смирения перед неизбежным, столько готовности к удару, что голос звучал как человек, который уже стоит перед стеной и знает, что сейчас врежется.

— Не будет этого! — взревел отец, вскакивая с места, и стул с грохотом отлетел назад, и этот грохот был таким знакомым, таким привычным, что тело дёрнулось раньше, чем разум успел отреагировать. — Ты что, хочешь нас с матерью опозорить?!

— Причём здесь это? Я просто не могу так больше жить. Дима всегда чем-то недоволен, орет, иногда даже бьёт, — и каждое слово давалось с трудом, не потому что было стыдно, а потому что произносить это перед отцом, который сам орал и наказывал, было так абсурдно, что хотелось смеяться и плакать одновременно.

Мама сидела молча, глотая непролитые слёзы, и её молчание было красноречивее любых слов — оно было знаком того, что она знает, что я права, но не скажет этого, потому что не умеет, потому что не научилась, потому что всю жизнь молчала, и молчание стало её вторым языком, более привычным, чем речь.

— Значит, ты плохо исполняешь свои обязанности. На хорошую жену муж орать не будет. Значит, ты сама виновата, — и эти слова упали на стол, как тяжёлые, холодные камни, и от каждого веяло тем самым привычным, отцовским презрением, которое я слушала всю жизнь, которое вдалбливалось в меня, как гвоздь, до тех пор, пока я не начала верить, что голова моя — это и есть шляпка гвоздя.

Я проглотила высказывание отца, и оно прошло внутрь, как глоток кислоты — медленно, жгуче, оставляя за собой выжженный след.

— Сегодня я узнала, что он не может иметь детей, — и после этих слов наступила тишина, но не та тишина, которая приносит покой, а та, которая предшествует взрыву.

— Плохо, конечно, но не страшно. Ты главное молчи, что знаешь. Мужчина не может выглядеть в глазах женщины неполноценным. Это его уничтожит, — и отец говорил это так спокойно, так буднично, будто речь шла не о моей жизни, а о каком-то правиле, вычитанном из старой, пыльной книги, в которой нет главы про меня.

— Я бы молчала, если бы и он молчал, — горько усмехнулась я, и эта усмешка была такой горькой, что от неё сводило зубы. — Он же во всём обвиняет меня. Практически каждый день говорит, что я дефектная.

— Ты же знаешь, что это не так. Значит, молчи и терпи, ему так легче, — отец продолжал защищать Диму, и в этом была такая слепая, упрямая преданность чужому мужчине, что от

неё веяло чем-то страшным: мой отец защищал не меня, не свою дочь, а того, кто меня бил, и в этом была вся его правда, вся его «любовь», весь его «отцовский долг».

— Да я узнала об этом сегодня! — вскочила со стула от услышанного, и стул качнулся, как и отцовский минуту назад, и в этом движении было столько ярости, столько отчаяния, что воздух в кухне стал плотным, тяжёлым, почти осязаемым. — А до этого я действительно думала, что дефектная, и винила себя за это!

— Ну теперь-то ты знаешь. Сейчас будет легче, — и в этом «легче» было столько равнодушия, столько ледяного, снисходительного спокойствия, что от него кровь застыла в жилах.

— Я не хочу, чтоб было легче. Я хочу развестись, — и голос мой окреп, и в нём зазвучала та нота, которую я не слышала раньше, — нота, которая не просила, а требовала.

— Нет. Это моё последнее слово. Если вы разведётесь, ты мне больше не дочь! Я отрекусь от тебя! — мать схватилась за сердце и стала нашептывать молитву, и её губы двигались быстро, беззвучно, как у человека, который давно научился молиться не от веры, а от страха. — Я хочу гордиться тобой и не хочу, чтоб ты меня опозорила.

— Опозорила перед кем?! Почему ты переживаешь за чувства Димы и не переживаешь за мои? Ради мнимой гордости я изо дня в день должна терпеть побои и унижения и обливаться кровавыми слезами?! Так получается?! — и каждое слово вылетало из меня, как камень из пращи, и летело в его сторону, тяжёлое, острое, налитое тремя годами боли, которая наконец нашла выход.

— Я переживаю за тебя. Я хочу, чтоб ты была счастлива. Поэтому и не согласен на развод. Дмитрий взрослый и ответственный человек, он сможет позаботиться о тебе, — и в этих словах было столько лжи, столько глухой, непробиваемой слепоты, что они звучали как издевательство, как ещё одна пощёчина, только не ладонью, а словом.

— Но я не счастлива с ним! Я реву днями и ночами! Это не очень похоже на счастье! — по лицу покатились слёзы, и они текли, не останавливаясь, горячие, обжигающие, и каждая капля была как маленькое доказательство того, что счастье, о котором он говорил, было не моим, а его — его представление о том, как должно быть, его план, его воля, в котором мне было отведено место тени, а не человека. — Этим решением ты обрекаешь меня на страдания и боль.

— Ты ещё молода и ничего в жизни не понимаешь. Пройдёт время, вы притрётесь друг к другу, и всё будет хорошо, — и в этих словах было столько снисходительности, столько уверенности человека, который никогда не ошибался — по крайней мере, в своих собственных глазах, — что от них хотелось кричать.

— Хорошо? Да не будет ничего хорошего! С каждым днём становится только хуже, — я подошла к отцу вплотную, и между нами было меньше метра, но это расстояние казалось огромным, как пропасть, через которую никогда не перекинуть мост. Вздохнула и продолжила, и голос дрожал, но не от страха, а от того, что я говорила то, что никогда не решалась сказать, то, что носила в себе годами, как носит камень в желудке человек, который проглотил его, не желая, но не умея выплюнуть. — Ты не хочешь меня услышать. Ты не пытаешься меня понять. И счастья для меня ты тоже не хочешь. Оглядываясь на всю мою прожитую жизнь, я не могу вспомнить от тебя ни одного хорошего слова в мой адрес. Ты всегда упрекал меня, орал и наказывал. Знаешь… мне иногда кажется, что ты не мой отец. Не может человек так ненавидеть своего ребёнка…

Раздался хлёсткий звук пощёчины, и он прозвучал в тишине кухни, как выстрел, — резкий, короткий, окончательный. Левую сторону лица обдало обжигающе-жгучей болью, и эта боль была знакомой, привычной, как старая рана, которая открывается снова и снова, но в этот раз она была другой — она была последней. Я замолчала и схватилась за лицо, и под пальцами пульсировал жар, живой, настырный, как второе сердце. Глаза от удивления расширились, и в них отражался он — мой отец, с рукой, ещё занесённой, с лицом, искажённым злобой, и в

этой злобе не было ни стыда, ни сомнения, только голая, первобытная ярость человека, которого ударили правдой. В отцовских глазах увидела лютую злобу, и эта злоба была такой древней, такой привычной, что я вдруг поняла: она была всегда, с самого начала, просто раньше я называла её «строгостью», «воспитанием», «традицией», а теперь видела настоящее имя. Мы смотрели глаза в глаза, и в его взгляде не было ни раскаяния, ни колебаний, и в моём, наверное, тоже, потому что страх, который жил во мне всю жизнь, вдруг сгорел, как сгорает сухая трава от одной искры, и на его месте осталась только пепельная, тихая пустота. Медленно отступая к выходу, я заговорила, и голос был ровным, спокойным, почти чужим, как голос человека, который уже перешёл черту и не может вернуться.

— Этим поступком ты показал всё. Ничего другого я от тебя никогда и не ждала. Теперь я могу сказать с уверенностью. Ты мне больше не отец! С Димой я всё равно разведусь. Но и ты меня больше не увидишь, — и каждое слово падало, как камень, тяжёлое, окончательное, и после него не было ничего — ни эха, ни отклика, только тишина, которая была не пустой, а полной, полной конца.

Развернулась и побежала на выход, и ноги несли меня по коридору, мимо знакомых стен, мимо фотографий, на которых я была маленькой и улыбалась, не зная, что улыбка эта — единственное, что от меня останется. Пока обувалась, подошла мама, и её шаги были тихими, осторожными, как шаги человека, который идёт по краю.

— Не горячись так. Подумай ещё раз, — сказала она, сунув в руку какую-то бумажку, и в её голосе было всё: и страх, и любовь, и бессилие, и тихая, безнадёжная мольба о том, чтобы всё стало как было, даже если «как было» — это ад.

Быстро простившись, ушла, и дверь за мной закрылась, но на этот раз не с хлопком, а тихо, почти бесшумно, как закрывается дверь, за которой уже не ждут. Только на улице увидела, что сунула мне мама. Это была тысячная купюра, и она лежала в ладони, мятая, тёплая от материнских рук, и в этой мятой бумажке было больше любви, чем во всех отцовских словах за всю мою жизнь.

В голове роились мысли, путались, сталкивались, разлетались, как мошкара вокруг фонаря, и каждая несла в себе свой свет и свою тьму. Хотелось всё забыть, выжечь, стереть, как стирают надпись с доски, оставляя только белую, чистую пустоту. Хотелось отпустить и пойти дальше, но не знала куда, потому что «дальше» было пустым словом, в котором не было ни дороги, ни направления. Хотелось отомстить за мои мучения, и это желание было тёмным, горячим, как уголёк, который тлеет, но не разгорается. Хотелось доказать, что я лучше, чем они обо мне думают, и в этом желании было столько отчаянной, израненной гордости, что от неё щипало глаза. Хотелось поплакать и пожалеть себя, и это было самым честным, самым простым, и, наверное, самым нужным. Так много чего хотелось, что было трудно выбрать, и я не выбирала, а просто шла вперёд, и ноги несли меня сами, по направлению к ближайшему магазину, где я купила первую попавшуюся бутылку вина, не глядя на этикетку, не глядя на цену, не глядя ни на что, потому что смотреть уже было не на что. Думала, выпью и станет легче, и эта мысль была такой наивной, такой детской, что от неё хотелось улыбнуться, но губы не слушались, а глаза уже не различали, где реальность, а где нет.

Пока бесцельно брела вперёд, вспоминая разговор с отцом, выпила полбутылки, и вино было кислым, дешёвым, но оно делало своё дело — притупляло, размывало, превращало острые углы в мягкие, тупые, неопасные. Алкоголь сильно ударил в голову, но я продолжала пить, и каждый глоток был как маленький шаг в темноту, где не было ни боли, ни страха, ни отца, ни мужа, ни отцовской пощёчины, ни Диминых упрёков, ни слова «бесплодие», горевшего на бумаге. Зазвонил телефон, и этот звонок ворвался в моё туманное, размягчённое состояние, как будильник, который бьёт по нервам.

— Даа, — протянула пьяным голосом, и голос звучал не моим, а чьим-то другим — развязным, чужим, будто из фильма, который я смотрела краем глаза.

— Ты где шляешься? Почему дома бардак? — начал с претензий Дмитрий, и его голос, знакомый до тошноты, ворвался в меня, как холодная вода, и на мгновение трезвость вернулась, но только на мгновение, и тут же утонула в вине.

— Так возьми и убери, — захихикала в трубку, и это был истерический смех, рвущийся из горла, как крик, который замаскировали под смех, потому что кричать уже не было сил.

— Ты что, пьяная? — растерялся он, и в этой растерянности было столько непонимания, столько искреннего шока от того, что его послушная, забитая жена осмелилась быть не такой, как он приказал, что от этого стало почти смешно. — Давай домой, завтра поговорим.

— А яяя больше не вернусь, — заикалась и тянула слова, и каждое слово, растянутое, было как шаг, который я делала прочь от него, и каждый шаг был необратимым.

— Хватит чушь нести! Где ты? Я тебя заберу, — рявкнул в трубку, и в его голосе зазвенел металл, привычный, командный, тот самый, который три года заставлял меня сжиматься и бежать на кухню, но теперь он не действовал, как не действует ключ от замка, который уже сломан.

— Я с тобой развожусь. Я устала терпеть твои издевательства. И сам ты ущербный! — кричала в телефон, и каждое слово вылетало из меня, как пуля, и было направлено точно, без промаха, в то место, где у него жила его ложь, его гордость, его самоутверждение за мой счёт. — Я могу иметь детей, в отличие от тебя.

— ХВАТИТ!!! — рычал Дима, и в этом рыке было столько звериной, загнанной ярости, что я почувствовала: я попала, попала туда, куда нужно, в самую болевую точку, и от этого стало не радостно, а пусто, потому что месть — это блюдо, которое не насыщает, а только оставляет горький привкус.

— ДА ПОШЁЛ ТЫ!!!!! — крикнула, и этот крик был последним, что я ему дала, последним словом, последним вздохом, после которого уже ничего не будет — ни разговоров, ни оправданий, ни мольбы.

Оглянулась по сторонам. Стою на мосту. И не помнила, как сюда попала, будто ноги привели меня сами, без спроса, без разрешения, и мост был тёмным, пустым, и фонари отражались в воде дрожащими, размытыми пятнами, как отражения луны в луже. Развернулась и кинула телефон в реку, и он описал в воздухе дугу, блеснув экраном, как маленькая, падающая звезда, и исчез в чёрной воде без всплеска, будто его проглотила сама тьма. Вскарабкалась на перила, села, и каменный выступ был холодным, шершавым, и от этого холода стало немного яснее, но только немного. Смотрела, как бежит вода, и она была чёрной, бесконечной, безразличной, и в её движении было что-то гипнотическое, успокаивающее, как колыбельная, которую поют не голосом, а тишиной. Созерцание меня успокаивало, и тревоги, которые рвали меня изнутри, постепенно улеглись, как улеглась бы буря, если бы у неё закончился воздух. Допила бутылку и кинула в воду, и она красиво упала, и звук был круглый, полный, забавный.

— Бульк… смешно, — пьяно улыбнулась своим мыслям, и эта улыбка была такой жалкой, такой потерянной, что, увидь меня кто-нибудь, он бы не узнал во мне ту девочку, которая когда-то искрилась счастьем.

Голова кружилась, но было так легко и хорошо, и эта лёгкость была обманчивой, как всё, что обещает покой, — она была не свободой, а просто отключением, как выключение лампы, после которого не становится светло, а становится темно. Только хотелось спать. Зря я так много выпила, я ведь практически не пью, на Новый год бокал лёгкого вина или шампанского и на день рождения, и то не всегда. Как же глаза слипаются. Хочется спать, и это желание было таким сильным, таким всеобъемлющим, что оно поглотило всё: и мысли, и страх, и боль, и даже темноту, которая была вокруг. А потом я провалилась в темноту, и это проваливание было похоже не на сон, а на падение, медленное, бесшумное, в ту самую чёрную воду, которая бежала подо мной, забирая всё, что я ей отдавала, и не возвращая ничего, кроме тишины.

## ГЛАВА 6

*Влад.*

Сегодня был сложный день. Устал на работе неимоверно — так, что тело казалось налитым тяжёлым, густым свинцом, а каждое движение давалось с усилием, словно двигался сквозь невидимую толщу воды. Хотелось приехать быстрее домой и завалиться спать, даже не раздеваясь, просто упасть лицом в подушку и отключиться, как выключают свет — одним щелчком, без перехода, без промежуточных стадий между бодрствованием и небытием. Даже поесть сил нет, и голод тихо грыз где-то в желудке, но был слишком далёким, слишком неважным, чтобы обращать на него внимание. Когда уже закончатся эти пробки? Час плетусь от светофора до светофора, и машина ползёт еле-еле, как больное животное, которое не хочет идти, но его тянут за поводок. Сколько можно? Доехал до ближайшего поворота и свернул. Надо выехать в сторону набережной. Путь будет чуть длиннее, но пробок быть не должно. Надеюсь, доберусь быстро, и эта мысль была единственной, на которую хватало сил.

Проезжая вдоль набережной, взгляд зацепился за девушку, и это «зацепился» было не случайным — она выделялась на фоне тёмной воды и серого камня, как одинокая свеча в пустом окне. Сбавил скорость, и мотор тихо уронило обороты, будто сам он притих, почувствовав что-то неладное. Она сильно шаталась, и в этом шатании было что-то тревожное, неуклюжее, как у марионетки, которой обрезали половину нитей. Вроде говорит по телефону, и её голос, тонкий, размытый, долетал до машины обрывками, как ветер, который приносит чужие слова.

— Ох, ничего себе! — присвистнул, и это был невольный, рефлекторный звук, вырвавшийся раньше, чем разум успел его остановить.

Она бросила телефон в воду, и он описал в воздухе короткую, небрежную дугу, блеснув экраном, как падающая звезда, которая даже не успела загадать желание.

— Что она делает? Свалится же, — и в этом возгласе было не столько любопытство, сколько предчувствие беды, холодное и острое, как укол.

Увидел её кривые попытки залезть на перила, и каждое движение было таким неловким, таким обречённым, что сердце подпрыгнуло к горлу. На удивление у неё получилось, и она сидела на каменном выступе, покачиваясь, как маятник, который вот-вот остановится. Остановился на обочине и поспешил к девушке, и ноги несли быстрее, чем думал, будто тело уже приняло решение, а разум только догонял. Подошёл ближе, рассматривая её, и в свете фонарей её лицо было бледным, почти прозрачным, как у статуи, которую долго держали в темноте. Красивая, только сильно пьяная — и эта пьяность не портила её, а делала уязвимой, почти хрупкой, как мокрая бумага, которая рвётся от одного прикосновения. Одета скромно: джинсы и футболка, и в этой простоте было что-то такое беззащитное, что хотелось накинуть на неё куртку, хотя ночь была тёплой. Волосы чёрные, длинные, заплетены в толстую косу, и она лежала на плече, тяжелая и блестящая, как кусок шёлка. Стройная, лицо симпатичное, с тонкими чертами, которые терялись в тени и выступали на свет, как рельеф на старой монете. Интересно, что заставило её так напиться? Она что, засыпает?! И в этом «засыпает» был такой испуг, что руки сами потянулись к ней. Подхватил, пока не упала в реку, и она обмякла в руках, как будто из неё вынули все кости. Лёгкая, как пушинка, и от неё пахло дешёвым вином и чем-то горьким, не винным, а жизненным, таким запахом, который бывает не от алкоголя, а от слёз, которые в нём растворены. Уложил в машину и отправился домой. Узнать её адрес вряд ли получится, и даже не стал пытаться — она была так далека от реальности, как далека звезда от того, кто смотрит на неё с земли. Проспится, потом отвезу, куда скажет, и этот план был простым, почти автоматическим, таким, какие строят, когда слишком устал, чтобы думать о последствиях.

Добравшись до дома, уложил её на диван в гостиной, и она свернулась калачиком, подтянув колени к груди, как ребёнок, который привык занимать как можно меньше места. Сам лёг в спальне. Уснул, как только голова коснулась подушки, и сон был чёрным, без сновидений, без единого образа, как окно, на которое повесили плотные шторы.

Пробуждение было забавным. На меня смотрели большие, испуганные глаза цвета молочного шоколада — «оленёнка Бэмби», и в этих глазах плескался такой первобытный, животный страх, что на мгновение показалось, будто я не в своей спальне, а в лесу, перед существом, которое боится каждого шороха. Она сидела на краю дивана, сжавшись, готовая в любой момент вскочить и бежать, и в этой напряжённой, готовой к бегству позе было что-то такое знакомое, такое узнаваемое, что сердце сжалось.

— Простите, а где я? — прозвучал робкий мелодичный голос, и он был похож на голос птицы, которая впервые увидела клетку изнутри.

— У меня дома, — ответил просто, и голос прозвучал хрипловато, сонно, как у человека, которого разбудили не вовремя.

— А как я здесь оказалась? — и в этом вопросе было столько растерянности, столько искреннего, детского непонимания, что стало почти смешно.

— Я привёз. Ты чуть не свалилась с моста, когда отключилась в пьяном угаре, — и эти слова прозвучали буднично, просто, как прогноз погоды, но она восприняла их так, будто ей сообщили о конце света.

— Господи, стыд-то какой, — закрыла красное от смущения лицо ладошками, и между пальцами мелькнули карие глаза, огромные, блестящие, как у зверька, пойманного в капкан.

— Да ладно, с кем не бывает, — не стал вгонять её ещё больше в краску, и голос смягчился, почти машинально, будто тело само почувствовало, что с ней нужно говорить тише, мягче, как говорят с существом, которое в любую секунду может сорваться и убежать. — Слушай, раз уж ты встала, может, сварганишь что-нибудь пожрать?

— Да, да, конечно, — она вскочила на ноги, и этот порыв был таким резким, таким мгновенным, будто он дёрнул за верёвочку, которая была к ней привязана, и она послушно дёрнулась, как марионетка. У самой двери добавила: — Я быстро, — и это «быстро» прозвучало как обещание, которое она давала не мне, а кому-то другому, невидимому, стоящему у неё за спиной.

Странная девушка. Дёрганая какая-то, и в этой дёрганности не было нервозности — было ожидание удара, привычное, въевшееся, как запах дыма в одежду, которая побывала в пожаре. Даже скорее зашуганная, и это слово всплыло само, без приглашения, точное и горькое.

Отбросил ненужные мысли и пошёл в душ. Горячая вода смывала усталость, и пар обнимал плечи, и стоять под этим потоком было так хорошо, что хотелось остаться здесь навсегда, в этом белом, тёплом тумане, где нет ни пробок, ни работ, ни девушек на мосту. Когда привёл себя в порядок, отправился искать гостью. Девушка стояла у кухонного окна, смотрела вдаль, о чём-то думая, и в этом взгляде, устремлённом за стекло, за крыши, за горизонт, было столько тихой, сосредоточенной боли, что стало не по себе. Я завис, разглядывая её, и время будто остановилось. Такая хрупкая, и в этой хрупкости не было грации — была надломленность, как у ветки, которая гнулась слишком долго и слишком часто и теперь держится на одном волокне. Что же у неё произошло? И этот вопрос стоял в воздухе, без ответа, тяжёлый, как камень, который некуда положить.

— У тебя что-то горит, — произнёс вслух, почуяв запах горелого, и этот запах, горький, едкий, врезался в ноздри, как резкий, нежданный звук.

— А… — обернулась растерянно, и в её взгляде не было понимания, только медленное, сонное возвращение из того места, куда унесли её мысли.

— Горит, говорю, что-то, — повторил, и на этот раз слова дошли, и дошли не до разума, а до тела, потому что она дёрнулась так, будто её ударило током.

— Ох…

Девушка метнулась к плите, снимая сковороду, и в этом рывке было столько отчаянной, панической торопливости, что казалось, она тушит не яичницу, а пожар. А дальше стало происходить что-то вообще не нормальное. Она подняла на меня испуганный взгляд, и я бы даже сказал — неописуемый ужас плескался в нём, такой густой, такой острый, что от него захотелось отступить на шаг, будто перед собакой. Её начало мелко потряхивать, и эта дрожь была не от холода и не от похмелья — она была от чего-то другого, от чего-то, что я не мог понять, но чувствовал, как чувствуют вибрацию натянутой струны, которая вот-вот лопнет. Я искренне не понимал, что тому поспособствовало. Надо как-то разрядить накаляющуюся обстановку, подумал, поднимая руку, чтобы почесать затылок, и этот жест был самым естественным, самым безобидным, каким только может быть. Её глаза стали ещё больше, и она осела на пол, как подкошенная, и в этом падении не было ни грации, ни сознания — только животный, безусловный рефлекс существа, которое привыкло, что любое движение руки означает удар. Своими действиями она ввела меня в ступор и даже немного напугала, и этот страх был не за себя, а за неё, за то, что должно было произойти с человеком, чтобы он вот так реагировал на поднятую руку.

— Тебе плохо? — присел перед ней, озабоченно разглядывая, и голос прозвучал тихо, почти шёпотом, будто громкий звук мог её ранить.

— Нет… просто… я… завтрак испорчен, — кое-как выдавила она, заикаясь, и в этом заикании было столько стыда, столько привычной, въевшейся вины за то, что не получилось, не справилась, не оправдала, что от неё повеяло холодом, не от оконного сквозняка, а от чего-то более глубокого.

— Да не парься! — выдохнул с облегчением, что проблема небольшая, и это облегчение было таким искренним, таким простым, что почти рассеяло тяжёлый, гнетущий воздух, который сгустился между нами. — Ща я бутерброды сделаю по-быстрому.

— Ты?! — она смотрела на меня так, словно я стою перед ней в женском одеянии, и в этом «ты?!» было столько изумления, столько непонимания, будто я предложил ей нечто невозможное, противоестественное, нарушающее законы её мира, в котором мужчина на кухне — это явление из ряда вон выходящее.

— Я, — просто ответил и принялся за готовку, и движения были привычными, быстрыми, почти автоматическими: хлеб, сыр, ветчина, помидор, нож стучит по доске мерно, как метроном. — Присядь пока, я быстро, — и в этих словах было столько непринуждённости, что она замерла, словно не зная, как реагировать на человека, который не кричит, не требует, а просто предлагает сесть.

Спустя пару минут стол был накрыт, и бутерброды лежали на тарелке ровно, аккуратно, как солдаты в строю. Мы принялись за еду, и тишина между нами была не пустой, а осторожной, как первые шаги по тонкому льду, когда не знаешь, выдержит или провалится.

— Может, познакомимся? Я Влад, — начал разговор первым, и голос звучал ровно, спокойно, как у человека, который привык к тишине и не боится её нарушать.

— Милена, — и имя прозвучало тихо, почти шёпотом, как будто она не привыкла называть его вслух, будто имя было чем-то, что можно произнести только с разрешения.

— Красивое и необычное имя, — и это было правдой: имя было мягким, текучим, как вода в ручье, и в нём было что-то южное, тёплое, что не вязалось с её зажатостью, с её дрожащими руками, с её глазами, полными страха.

Мила пожала плечами и уставилась в кружку, и в этом жесте было столько безразличия к себе, столько привычки быть незаметной, что захотелось потянуться через стол и тронуть её за руку, но побоялся — не её, а того, что она снова осядет на пол. Больше разговоров заводить не стал. Видел, как она зажата, как каждый мускул в её теле напряжён, готовый к бегству или к защите, и это напряжение было постоянным, не паузой, а состоянием, как у человека, который слишком долго жил под прицелом и уже не умеет расслабиться. После завтрака кинулась

мыть посуду, и в этом рвении было столько отчаянной, почти маниакальной потребности быть полезной, что от неё веяло чем-то печальным и знакомым. Создавалось впечатление, что она выдрессирована — не просто много времени проводит на кухне, а вот именно выдрессирована, как животное, которое научили выполнять команды и боится наказания за невыполненную. Где ж ты живёшь, милое создание? И этот вопрос стоял в голове, безответный, как все вопросы, ответы на которые знать, может быть, не хочешь, но уже не можешь не думать.

— Мне, наверное, уже пора? — несмело интересуется, а у меня левая бровь взлетает вверх от удивления, и этот жест — бессознательный, рефлекторный — выдаёт всё, что я думаю.

— Ты у меня спрашиваешь? — уточнил на всякий случай, и в голосе было столько искреннего недоумения, что она вздрогнула, будто не ожидала, что её присутствие может быть не вопросом, а само собой разумеющимся.

— Не хотелось бы злоупотреблять вашим гостеприимством, — так мило смущается, и в этом смущении не было кокетства — был страх, привычный, глубинный, страх человека, который слишком долго был обузой и привык просить разрешения на то, что должно быть его правом.

— Во-первых, давай на «ты», а то чувствую себя дедом. Во-вторых, ты мне нисколько не мешаешь. Моя жизнь как день сурка: каждый день одно и то же. А ты привнесла в неё хоть какое-то разнообразие. Если тебе некуда торопиться, можешь остаться ещё, — и каждое слово было простым, незатейливым, но в нём было столько тепла, что я сам удивился, откуда оно взялось, из какого уголка души, который, казалось, давно закрыт на замок.

— Торопиться мне действительно некуда. Только сидеть тоже не выход. Надо как можно скорее найти жильё и работу, — и в этих словах, произнесённых тихо, ровно, без надрыва, было столько спокойного отчаяния, что от них повеяло холодом, как от открытой зимой двери.

— А что же могло произойти, чтоб разом потерять работу и жильё? Ты жила на работе? — сделал предположение, и оно было таким неуклюжим, таким бытовым, что тут же пожалел о нём, потому что лицо её дрогнуло, как дрогнет вода, в которую упал камень.

— Из дома пришлось уйти. А работала я через интернет. Компьютера нет, и карту я потеряла, — неуверенно проговорила Милена, и в этом «потеряла» было столько тщательно скрытой боли, что слово звучало не как факт, а как эвфемизм для чего-то гораздо более страшного, и я это почувствовал, как чувствуют ложь — не ушами, а чем-то более глубоким, чем-то, что не имеет названия.

— Карту можно сделать новую. Могу приютить у себя на время и компьютер предоставить, временно, — и слова выходили просто, без пафоса, без геройства, как выходят из крана вода, когда поворачиваешь вентиль. Её глаза расширились и стали напоминать два блюдца, и в этом расширении было столько неверия, столько испуганной, жадной надежды, что захотелось отвернуться, потому что смотреть на неё было больно, как смотреть на человека, который слишком долго не ел и которому протянули хлеб. — Приставать не буду, даю слово, — поспешил успокоить, и в этом «даю слово» было столько серьёзности, что оно прозвучало как клятва, и, может быть, именно клятва ей и была нужна, потому что словам без клятвы она, видимо, давно перестала верить. — Меня и дома-то почти не бывает. Но выбор за тобой. Не хочешь — можешь уходить. Да и если останешься, дверь всегда открыта. Уйдёшь в любой момент, — мило улыбнулся для убедительности, и улыбка вышла неловкой, почти застенчивой, и от этого, наверное, более настоящей, чем любой уверенный, широкий жест. Что-то Мила совсем зашуганная, и эта мысль, простая, короткая, стояла в голове, как фонарь, который освещает только маленький участок дороги, а дальше — темнота, в которую пока не видно.

## ГЛАВА 7

*Милена.*

Стою хлопаю глазами и не знаю, что делать, и это «не знаю» было не минутным замешательством, а состоянием, в котором я жила последние годы, — непроходимым, вязким, как трясина, из которой каждое движение вытягивает последние силы. С одной стороны, Влад вроде не вызывает страха: его голос ровный, движения неторопливые, в глазах нет того хищного прищура, который я научилась безошибочно распознавать. С другой — Дмитрий в начале тоже казался нормальным, и это воспоминание было холодным, липким, как мокрая паутина, которая вдруг коснётся лица в тёмном углу. Дима за эти годы вбил в меня стойкий страх перед мужчинами, и этот страх сидел не в голове, а в теле, в каждом мускуле, в каждой клетке, как вбитый гвоздь, который уже не отличить от дерева, в которое он вошёл. Но куда мне идти, если откажусь? Домой? Точно нет, и при одной мысли об отцовском доме внутри всё сжалось, как сжимается раненое животное, инстинктивно подбирая лапы. К Диме? Боюсь представить, что он со мной сделает, и это «боюсь» было таким густым, таким осязаемым, что от него по коже побежали мурашки, словно кто-то провёл ледяным пальцем по позвоночнику. Чёрт, Виктория! Она же меня вчера ждала, а я совсем забыла, и это «забыла» было не просто оплошностью — оно было последним гвоздём в крышку гроба моей единственной спасительной дороги. Вика, скорее всего, вернулась домой. И я потеряла шанс поехать с ней, и от этой мысли стало физически больно, как от удара под дых, который нанесли не кулаком, а обстоятельствами. Надо позвонить, узнать, и эта мысль была отчаянной, жадной, как глоток воздуха.

— Ты не знаешь, где мой телефон? — и голос прозвучал так, будто я прошу не телефон, а спасательный круг.

— Знаю. Ты выкинула его в реку вчера, — улыбался Влад, наблюдая за мной, и в его улыбке не было насмешки, было что-то другое — мягкое, почти ласковое, как утренний свет, который пробивается сквозь шторы и ложится на пол тёплым, неровным пятном.

— Да не-е-ет, — закрыла руками лицо, и ладони были горячими, влажными, и между пальцами проступал румянец, жгучий, стыдливый, как у ребёнка, которого застали за чем-то постыдным.

Какая же я дура. Никогда больше не буду пить, и это «никогда» было таким искренним, таким отчаянным, что звучало как клятва, которую дают не себе, а всем, кто когда-либо верил в тебя.

— Так что ты решила? — и в его голосе не было давления, не было нетерпения, только ровный, спокойный вопрос, как будто он спрашивал о погоде, а не о том, от чего зависит вся моя жизнь.

— Неудобно как-то тебя стеснять, — и эти слова прозвучали так робко, так тихо, что я сама себя не расслышала, и в этом «неудобно» было столько привычной, въевшейся потребности занимать как можно меньше места, что от неё повеяло чем-то горьким и знакомым.

— У меня две комнаты, ты меня не сильно стеснишь. Да и видеться будем не часто. Я сутки на работе, вторые отсыпаюсь. Только на третий день встретимся, а там опять всё сначала, — и он говорил это так просто, так буднично, будто речь шла не о моей жизни, а о расписании автобусов, и в этой простоте было столько спокойной, ненавязчивой доброты, что от неё захотелось плакать, потому что я уже забыла, как это — когда тебе не угрожают, не требуют, а просто предлагают.

— Ну, хорошо, если не помешаю, то останусь, — сдалась я, и это «сдалась» было не поражением, а тихим, робким шагом в неизвестность, который делаешь с закрытыми глазами, потому что открыть их страшнее. Всё равно выбора особо нет, и эта мысль стояла в голове, как последний аргумент, после которого уже не спорят.

Показал, где что лежит, и сказал чувствовать себя как дома. Интересно, что он имел в виду? Не стесняться или как дома у Димы — убирать, стирать, готовить и ждать тумаков, и от этого «или» по спине пробежал холодок, тонкий, знакомый, как сквозняк из щели, которую забыли закрыть. Ладно, не буду думать о плохом. Надеюсь, не совершаю очередную ошибку, и

эта надежда была тонкой, прозрачной, как первый лёд на луже, который трескается от малейшего прикосновения.

Влад дал запасные ключи, и они легли в ладонь, маленькие, холодные, тяжёлые — не весом металла, а весом доверия, которое я уже разучилась принимать. Сходила в банк и сделала новую карту, и банковский зал был ярким, гудящим, чужим, как другой планета, на которой люди живут без страха. Как мужчина и обещал, предоставил ноутбук, и его экран мигнул, как маленький, тёплый маяк в тёмной комнате. Зашла на свою страницу, поменяла пароль, прикрепила новую карту, и пальцы двигались быстро, привычно, и в этом было что-то успокаивающее — возвращение к тому, что я умею, к тому, в чём я не дефектная, не бракованная, а просто я. Как раз весело два сообщения от новых клиентов, и они вспыхнули на экране, как два маленьких огонька, которые говорят: ты нужна, тебя ждут, за тебя платят. Принялась за работу, и слова потекли, ровные, послушные, и каждый переведённый абзац был крошечным, тихим доказательством того, что я ещё что-то стою. Влад хозяйничал на кухне. Решила не мешать. Его квартира, сам разберётся, и эта мысль была осторожной, выверенной, как шаг по минному полю, где каждый неверный звук может стоить жизни. Время до вечера пролетело незаметно, и это было впервые за долгое время, когда время не тянулось, не мучило, а просто прошло, как проходит мимо добрый прохожий, который не останавливается и не требует ничего.

— Ты есть собираешься? — нарушил тишину «моей» комнаты Влад, и его голос, прозвучавший из-за двери, был таким ровным, таким ненавязчивым, что я вздрогнула не от страха, а от неожиданности, как вздрагиваешь, когда кто-то касается твоего плеча, а ты сидела в раздумьях.

— Да, да, конечно, сейчас приготовлю. А сколько времени? — затараторила, смотря на часы, и слова вылетали изо рта торопливо, куцые, как воробьи, которые вспорхнули от одного резкого звука. Увидев, что уже поздний вечер, душа ушла в пятки, и это «пятки» было не метафорой, а ощущением — холодным, проваливающимся, как ступень, которой не оказалось под ногой. — Я сейчас, я быстро. Надо было раньше сказать, — поднялась на ноги, готовая бежать на кухню, и в этом рывке было столько знакомого, столько отработанного, что тело действовало раньше разума, будто кто-то невидимый щёлкнул хлыстом, и я послушно дёрнулась, как лошадь, которая слишком долго ходила по кругу.

— Думал, проголодаешься, сама придёшь, — и в его голосе не было ни упрёка, ни раздражения, только простое, будничное объяснение, и от этого спокойствия стало ещё тревожнее, потому что я не знала, что делать с человеком, который не злится.

— А как же ты? — не поняла и застыла на месте, и в этом «застыла» было столько искреннего, детского недоумения, что я сама себе показалась чудом, существом из другого мира, в котором мужчина готовит еду и не ждёт, что жена бросится обслуживать его.

— А что я? Приготовил и сразу поел. Тебя беспокоить не стал, — и он сказал это так просто, как говорят «я почистил зубы» или «я открыл окно», и в этой простоте было что-то такое чужое, такое непостижимое, что мозг отказывался это обрабатывать.

— Приготовил? — только и смогла повторить я, и это слово прозвучало так, будто он сказал «я слетал на Луну», с тем же выражением растерянного, непроходимого изумления.

— Конечно. Что в этом удивительного? — и он действительно не понимал, и это «не понимал» было самым удивительным, самым невероятным из всего, что со мной случалось за последние три года.

— Ничего, — стушевалась, опушила взгляд в пол и пошла к столу, и каждый шаг был осторожным, как шаг человека, который идёт по стеклянному полу и боится, что тот вот-вот треснет.

Было крайне непривычно, есть то, что приготовил мужчина, и эта непривычность была не вкусовой, а какой-то глубинной, как будто нарушался закон, незыблемый, как гравитация, в котором мне было отведено место не за столом, а у плиты. Надо отдать должное, готовил

Влад вкусно, и каждый кусок был горячим, ароматным, приправленным не только специями, но и чем-то другим, чему я не могла подобрать названия, — может быть, отсутствием страха, потому что еда, приготовленная без страха, всегда вкуснее. Второй день прошёл практически так же. Я работала, он меня не трогал, и это «не трогал» было не равнодушием, а чем-то противоположным — уважением к моему пространству, к моему молчанию, к моей потребности просто быть, не оправдываясь и не доказывая. Было неудобно, привыкла всё делать по дому самостоятельно, без посторонней помощи, и эта привычка была такой въевшейся, такой костяной, что от неё невозможно было избавиться, как невозможно избавиться от шрама, который уже стал частью кожи. Эта ситуация меня не отпускала, не могла расслабиться, всё время ждала какого-то подвоха, и это ожидание было изматывающим, постоянным, как гул трансформаторной будки, который слышишь, только когда прислушаешься, но который никогда не прекращается. Перед сном зашёл Влад, и его шаги были тихими, почти бесшумными, как у человека, который привык не беспокоить.

— Я завтра с утра на работу, не теряй. Вернусь послезавтра утром, — и голос звучал ровно, буднично, как сообщение автоответчика.

— Хорошо, — и это «хорошо» прозвучало так тихо, что я сама не поняла, сказала ли его вслух или только подумала.

Он молча вышел, а я опять стала себя накручивать, и это «накручивать» было знакомым, почти родным, как привычка грызть ногти или накручивать прядь волос на палец, — бессмысленной, изматывающей. Что он хотел этим сказать? Наверное, надо приготовить завтрак. А-а-а-а… раз уходит на сутки, надо приготовить что-то ему с собой. Встану пораньше, и эта мысль была такой ясной, такой правильной, что от неё стало почти спокойно — наконец-то я знаю, что делать, наконец-то у меня есть задача, которую можно выполнить, и если выполнить её хорошо, может быть, меня не будут ругать. А может, и будут. Но попытаться стоит.

Проснулась в шесть утра, и будильник не понадобился — разбудил внутренний, выдрессированный страх, который поднимал в нужный час лучше любого звонка. Быстро привела себя в порядок, и движения были привычными, почти механическими: умыться, причесаться, натянуть домашнее. Оценила наличие продуктов, открывая холодильник, как сундук с сокровищами, и каждый продукт рассматривала с той же серьёзностью, с которой химик изучает реактивы перед опытом. Приступила к готовке, и руки работали быстро, но осторожно, как будто я имела дело не с рисом и водой, а со взрывчаткой, которая может рвануть от одного неверного движения. Через полтора часа на столе стояла горячая рисовая каша, пышная, ароматная, и пакет с едой в контейнерах, аккуратно уложенных один на другой, как кирпичики в стене, которую я строила — не из риса и макарон, а из попыток быть нужной.

— Доброе утро, — в проёме появился сонный Влад, и его голос был тёплым, хрипловатым, как у человека, которого только что вытащили из сна. — А тебе что не спится?

— Доброе. Так я завтрак приготовила. Ты же не пойдёшь на работу голодным, — внутренне начала нервничать, и эта нервозность была знакомой, привычной, как ноющая боль в суставе, к которой давно привык, но которая напоминает о себе при каждом движении. Может, надо было сидеть в комнате и не отсвечивать? И эта мысль мелькнула, как тень, быстрая и ядовитая.

— Неожиданно, но приятно, — расплылся в улыбке, как мартовский кот, и в этой улыбке было столько тёплого, ленивого, безоружного удовольствия, что я немного выдохнула, и этот выдох был похож на тот, что делаешь, когда отпускают руку, которая слишком долго сжимала твою.

— Я кашу сварила. Надеюсь, ты ешь такое, — и в этом «надеюсь» было столько осторожности, столько страха, что оно звучало не как информация, а как мольба: пожалуйста, не ругай, пожалуйста, не швыряй, пожалуйста, скажи, что нормально.

— Я всеядный, — он принялся наворачивать ложка за ложкой, и стук ложки о кромку тарелки был мерным, ровным, безостановочным, и в этом стуке было столько спокойного, будничного аппетита, что от него стало тепло, как от печки, в которой ровно горит огонь. Вроде доволен, и это «вроде» было не уверенностью, а робкой, пугливой надеждой, которая боялась стать уверенностью, потому что уверенность — это то, что всегда отнимали. Я продолжила, и слова выходили нервными, торопливыми, как будто я боялась, что если остановлюсь, то он передумает.

— Я тут… тебе с собой положила. Прости, не успела приготовить разное, так что на обед и ужин макароны по-флотски и салат, — Влад застыл с ложкой во рту, и в этом застывании было столько изумления, столько неподдельного, искреннего удивления, что я тут же запаниковала. — Но всё в разных контейнерах, — поспешила оправдаться, и это «оправдаться» было таким отработанным, таким въевшимся, что я делала это автоматически, не задумываясь, нужно ли оно вообще.

— Я тобой поражён, — как-то странно произнёс он, и в этом «поражён» было не раздражение, не сарказм, а что-то, чему я не могла подобрать названия, потому что раньше мне не приходилось слышать это в свой адрес, и это слово звучало как на чужом языке, красивом, но незнакомом.

— Я могу приготовить что-то другое и привезти к ужину, если скажешь адрес, — нервничала, не понимая его реакции, и быстро пыталась исправить ситуацию, и этот поток слов был похож на рой пчёл, которые вылетели из улья и не знают, куда сесть.

— Воу, воу, успокойся. Ты сейчас сознание от нервов потеряешь. Всё нормально. Я поем то, что есть. Раньше и этого не было: покупал по дороге пару пирожков на весь день — и всё. Ты меня приятно удивила. Если так будет постоянно, то привыкну. А что буду делать потом? — Влад задумался, и в этом «задумался» было что-то тёплое, почти домашнее, как будто он уже представлял, как будет приходить домой, где пахнет едой, где ждёт кто-то, кто заботится. — Слушай, а оставайся навсегда.

Я обалдело хлопала глазами, и в этом хлопанье было столько изумления, столько непроходимого, детского неверия, что я сама себе показалась совой, которая увидела солнце. Неужели впервые в жизни приготовила что-то, не испортив? И этим очень порадовала мужчину, и от этой мысли внутри что-то дрогнуло, как дрогнет тонкий лёд на луже, когда в него бросают камешек, — и не треснуло, а только пошло кругами, и круги были тёплыми, живыми, как первые лучи весеннего солнца.

Находясь в приподнятом настроении, после ухода Влада, сделала генеральную уборку в квартире, и тряпка скользила по поверхностям с тем же упоением, с каким художник ведёт кисть по холсту, — не из страха, не из потребности заслужить, а из чего-то другого, нового, незнакомого, что я не могла пока назвать, но что было похоже на покой. Постирала, погладила, и утюг скользил по ткани, и пар поднимался ровными, мягкими клубами, как дыхание, и в этом движении было что-то почти медитативное, спокойное, не похожее на те лихорадочные утюжения, когда я гладила по три раза, чтобы наверняка, чтобы не придраться, чтобы не ударил. Приготовила поесть, и на этот раз не боялась пробовать, не боялась пересолить, не боялась, что что-то пойдёт не так. Своей работой почти не занималась, времени было мало, и это «мало» было не тяжёлым, не давящим, а каким-то лёгким, почти приятным, как нехватка времени у человека, который занят чем-то хорошим. Спать легла уставшая, но счастливая, и это «счастливая» было таким непривычным, таким чужим на языке, что я несколько раз повторила его про себя, пробуя, как пробуют незнакомое слово, боясь, что оно рассыплется, как песок, но оно не рассыпалось, оно осталось, тёплое, живое, как первый огонёк, который я сама зажгла и который, кажется, не собирается гаснуть.

## ГЛАВА 8

*Милена.*

Долго не могла уснуть, и эта бессонница была не мучительной, а какой-то странной, наполненной тихим, ровным гулом мыслей, которые не кричали, а бормотали, как река, которую преградила плотина: вода не течёт, но и не стоит, а всё время шевелится, ища выход. Вспоминала первый день, и воспоминания приходили не по порядку, а рывками, вспышками, как кадры на старой киноплёнке, которые перескакивают и дрожат, но каждый — отчётливый, яркий, выжженный на сетчатке.

Когда я проснулась, не поняла, где нахожусь, и это «не поняла» было не сонным замешательством, а острым, холодным ощущением, как будто тебя пересадили в другой мир, не спросив разрешения. Темно. Чужая комната, незнакомый интерьер, и каждый предмет в ней — тумбочка, кресло, шторы — был чужим, как чужие вещи в чужом доме, который не твой, но в котором ты оказалась, не помня, как. Шторы зашторены, и за ними — тишина, плотная, непроницаемая, как стена, за которой нет ничего, кроме темноты. Было тихо, вышла в коридор, и босые ноги касались пола, тёплого, незнакомого, и каждый шаг был осторожным, крадущимся, как у кошки, которая оказалась в незнакомом помещении и обнюхивает каждый угол. Никого не слыхать. Пошла проверять остальные двери, и каждая ручка поддавалась с тихим щелчком, который в ночной тишине звучал громче, чем хотелось. Со второй попытки наткнулась ещё на одну комнату, и дверь была приоткрыта, как будто её специально оставили так — не запертой, не закрытой, а именно приоткрытой, в знак того, что здесь не прячут и не запирают. Там спал мужчина, и сон его был ровным, спокойным, без тех резких, рваных движений, которые я привыкла слышать по ночам, когда Дима ворочался, бормотал, иногда вскидывался. Подошла, присела, начала его разглядывать, и разглядывала с тем же осторожным, жадным любопытством, с каким ребёнок рассматривает зверя в зоопарке — не сквозь стекло, а вживую, и зверь спит, и не знает, что на него смотрят. Незнаком. Очень красивый, и эта красота была не той, показной, холёной красотой, к которой я привыкла у Димы, — нет, это была красота спокойная, естественная, как красота летнего утра, которое не старается понравиться, а просто есть. Светлые волосы цвета пшеницы, и в свете уличного фонаря, который просачивался сквозь шторы, они казались почти золотыми, как спелый колос, который тронули солнцем. Правильные черты лица, ровные, чёткие, будто высеченные из камня, но не грубо, а тонко, как скульптор, который любит свою модель. Пухлые губы, и они были чуть приоткрыты, и в этом было что-то мальчишеское, беззащитное, как у спящего ребёнка, который на время забыл, что он взрослый. Тело подтянутое, сразу видно, что занимается спортом, и даже сквозь тонкую футболку проступали линии плеч, рук, груди — не бугристые, не перекачанные, а ровные, литые, как у человека, для которого спорт — не цель, а привычка, такая же, как чистить зубы. Внезапно открыл глаза и уставился на меня, и это было так резко, так неожиданно, что я отшатнулась, и сердце рвануло с места, как спринтер, которого застали на старте. Я сразу испугалась. Ну всё. Незнакомый мужчина и, судя по всему, я у него дома, и от этой мысли внутри всё сжалось, стянулось в тугой узел, как ткань, которую резко дёрнули за нитку. Первой начала разговор, и голос прозвучал тонко, неуверенно, как у человека, который не знает, в какой момент его ударят — сейчас или чуть позже. Диалог проходил вполне нормально, и слово «нормально» было таким непривычным, таким странным в приложении к разговору с мужчиной, что я сама себе не верила. Когда попросил сделать завтрак, я так испугалась, и этот страх был не новым, а старым, знакомым, как старая рана, которая ноет к непогоде, — накатил мгновенно, горячо, заполнив всё тело от кончиков пальцев до корней волос. Все мои страхи вернулись в тот же миг, будто кто-то открыл дверь, за которой они стояли, терпеливо дожидаясь своего часа, и хлынули обратно, как вода в прорванный шлюз. Боялась что-то испортить, и это «боюсь» было не страхом неудачи, а страхом наказания, и разница между ними была такая же, как между экзаменом и судом: на экзамене ты боишься плохой оценки, а на суде — приго-

вора. Мне казалось, что все мужики одинаковые, и это «кажется» было не предположением, а убеждением, выжженным, вколоченным, как клеймо на коже, которое уже не сходит, сколько ни три. Если что, так сразу начинают орать и заниматься рукоприкладством, и эта цепочка — «орать — бить — винить» — была такой отработанной, такой знакомой, что я уже не представляла, что может быть иначе.

Глянула в окно и зависла, и это «зависла» было не задумчивостью, а чем-то более глубоким — временным отключением, как будто мозг, перегруженный страхом, решил дать себе передышку и переключился на то, что не может причинить боли. Увидела парк, и он был залит утренним светом, мягким, тёплым, как молоко, которое налили в стакан. Красивая зелень, и она была такой яркой, такой насыщенной, что казалась нереальной, как декорация к фильму, в котором люди живут счастливо. Дети играют, и их голоса долетали сюда, к окну, тонкие, звонкие, как колокольчики, и в этих голосах было столько беззаботной, не замутнённой страхом радости, что от них защипало в глазах. Мамочки хлопочут рядом, и в их движениях была та спокойная, уверенная привычность, которая бывает у людей, знающих своё место в мире. Множество клумб с потрясающими цветами, и издали не видно, какими конкретно, но буйство красок завораживает — красное, жёлтое, лиловое, белое, всё перемешано, перемигивается, как будто цветы разговаривают друг с другом на своём, тайном, невидимом языке. Я так задумалась, что обо всём забыла, и это «забыла» было первым за долгое время, когда я забыла о страхе, и в этом забвении было что-то похожее на покой, хрупкий, как первый тёплый день после зимы, который ещё может обмануть.

В себя пришла, услышав голос мужчины, и его звук пробился сквозь мечту, как камень — сквозь тонкий лёд. Сказал, что что-то горит, и от этих слов всё внутри обдало ледяным холодом, потом жаром, потом снова холодом, и этот перепад был таким резким, что тело среагировало раньше разума. Напугалась, рванула к плите, и ноги несли так, будто от этого зависела жизнь — не в переносном, а в прямом смысле, потому что в моём мире испорченный завтрак был не бытовой оплошностью, а преступлением, за которое следует наказание. Сняла сковородку, и ручка была горячей, но я не чувствовала — страх отбивает боль, глушит её, как глушит звук, когда кричишь. В душе рос панический страх, и он разрастался, как тесто на дрожжах, заполняя каждую клетку, каждый угол, каждый вздох. Сейчас начнётся очередной скандал, и эта мысль была не предположением, а уверенностью, и уверенность эта была такой безусловной, такой привычной, что я уже знала, что будет дальше: крик, слова, удар, потом тишина, потом уборка, потом всё сначала. А когда руку поднял, чтобы почесаться, осела мгновенно, уходя от удара, и это движение было отработанным, автоматическим, доведённым до рефлекса, как рефлекс сжиматься, закрывать голову, подставлять руки — тело знало, что делать, тело помнило, даже когда разум ещё не успел понять. Или ноги сами подкосились, и, может быть, это было правдой — может, не страх, а усталость от страха, которая копилась так долго, что наконец переполнила чашу, и ноги сдались, как сдаются опоры моста, которые слишком долго держали слишком большой вес.

Влад сам сделал бутерброды. Накрыл стол на двоих, даже не обиделся, что испортила завтрак, и это «не обиделся» было таким невероятным, таким невозможным в моём мире, что я смотрела на него, как смотрят на чудо, — не веря, но боясь отвести взгляд, чтобы оно не исчезло. Вижу такое впервые. Вообще никогда не видела, чтобы мужчина готовил, и это «никогда» было не преувеличением, а фактом, сухим, голым, как камень. Отец никогда чай сам не делал, не говоря уже об остальном, и воспоминание о нём стояло в голове, как памятник — тяжёлый, гранитный, с одной-единственной надписью: «Принеси. Подай. Убери». Такое правда бывает? И этот вопрос висел в воздухе, без ответа, как воздушный шар, который не знает, куда его несёт ветер.

За размышлениями не заметила, как уснула, и сон пришёл тихо, незаметно, как приходит ночь — не сразу, а постепенно, забирая свет по чайной ложке, пока не остаётся одна темнота, тёплая, мягкая, как одеяло, которое кто-то накинул на тебя, пока ты не видел.

Проснулась около десяти, и свет за окном был уже не утренним, а дневным, ровным, спокойным, как рука, которую больше не заносили для удара. В квартире тишина, и она была не тяжёлой, не давящей, а лёгкой, прозрачной, как воздух после дождя, когда всё чисто, всё свежо, всё пахнет землёй и новизной. Прошлась на цыпочках до спальни, и каждый шаг был тихим, осторожным, привычным — привычка ходить тихо была такой въевшейся, что я и не заметила, как ступаю на носки, как ставлю ногу сначала на пятку, потом мягко, беззвучно, как кошка. Влад спал, и сон его был глубоким, ровным, без тех рваных вскидываний, к которым я привыкла, и дыхание его было мерным, как прибой, который набегает и отступает, набегает и отступает, без резких порывов, без бури. Будить не стала. Он говорил, что отсыпается сутки, и я поверила, и в этом «поверила» было столько непривычного доверия, что от него стало почти страшно — не от него, а от того, что я разучилась верить людям, и теперь каждое правдивое слово казалось ловушкой. Вернулась к себе в комнату. Занялась работой, и пальцы легли на клавиатуру, и текст потёк, ровный, послушный, и в этом течении было что-то исцеляющее, как в ручье, который моет камни, пока они не становятся гладкими. Заказы шли хорошо, и каждый новый заказ был маленьким, тихим подтверждением того, что я ещё что-то стою — не как жена, не как дочь, не как жертва, а как профессионал, который умеет делать своё дело. Получилось заработать приличную сумму, и цифра на экране была не большой, но достаточной, и от неё стало теплее, как от первого костра, который ты развёл сам, без чужой помощи. За переводами просидела до обеда, и время прошло незаметно, растворилось в словах, в строках, в абзацах, как сахар в горячем чае — без следа, без остатка. Желудок стал требовать еды, и это требование было таким будничным, таким нормальным, что от него захотелось улыбнуться: тело просит не защиты, не побега, а просто еды, и это уже было хорошо. Решила прерваться и пойти перекусить. В раковине стояла грязная посуда. Судя по всему, Влад ел утром, когда пришёл, и посуда лежала не аккуратно, не на своих местах, а просто лежала, как вещи, которые положили, не думая о том, что за них будут ругать. Для меня это было словно открытие, и это «открытие» было не про посуду, а про то, что можно есть, не будя, оставить грязную тарелку в раковине и лечь спать, и никто не заорёт, не швырнёт, не ударит. Пришёл с работы, тихо поел, даже не разбудив меня, и в этом «не разбудив» было столько ненавязчивого, спокойного уважения, что от него захотелось плакать — не от горя, а от того, что такое простое, обыденное внимание оказалось для меня чудом. Не просил накрыть на стол, и это «не просил» звучало в голове, как колокол, который бьёт не по ушам, а по чему-то более глубокому, по тому месту, где три года жила привычка быть прислугой. Разогрела суп, который приготовила вчера, и его запах, тёплый, домашний, наполнил кухню, и в этом запахе было что-то мирное, спокойное, как запах хлеба, который пекут не для гостей, а для своих. Поела, перемыла посуду и вновь принялась за работу, и в этом ритме — есть, мыть, работать — было что-то почти нормальное, почти человеческое, и от этого «почти» внутри что-то тихонько оттаивало, как оттаивает лёд, когда его перестают держать в морозилке.

Услышала возглас, и он ворвался в тишину, как камень — в стоячую воду.

— Ёёё… ежики святые. Что я вижу? — и в этом возгласе было столько искреннего, неподдельного изумления, что я дёрнулась, и сердце, только-только успокоившееся, снова рвануло с места.

Быстро дойдя до комнаты Влада, увидела, как он стоит в центре и оглядывается по сторонам, и в его взгляде было такое растерянное, почти детское недоумение, будто он очутился в собственной квартире, но не узнал её, как не узнают дом, в котором пока был в отъезде сделали ремонт.

— Что-то не так, — сердце в панике начало свой разбег, и этот разбег был знаком до тошноты: вот оно, сейчас будет, сейчас найдётся, к чему придраться, и слова уже летят, и голос уже повышается, и рука уже… — и я застыла, ожидая удара, который не наносили.

— Даже не знаю. Я свою комнату такой чистой не видел даже… даже… да, никогда, — закончил растерянно, и в этой растерянности не было злости, не было раздражения — было чистое, непроходимое изумление человека, который привык жить в хаосе и вдруг увидел порядок.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.